



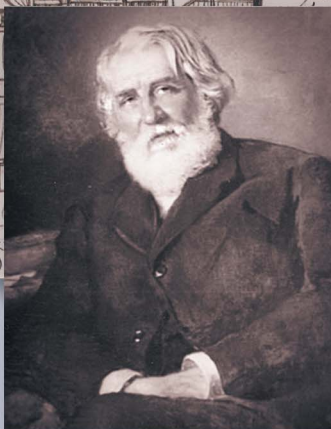
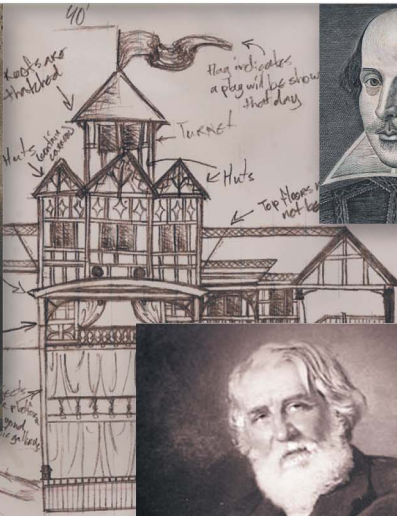
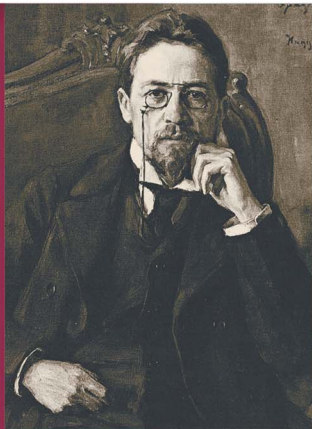
Б. А. Ланин
Л. Ю. Устинова

Литература



8
класс

Часть вторая



AN
EXCELLENT
conceited Tragedie
OF
Romeo and Iuliet.

As it hath been often (with great applause)
played publicly, by the right Hon-
ourable the Lord of Hunsdon
his Servants.



LONDON,
Printed by Iohn Danter.
1597.

Б. А. Ланин
Л. Ю. Устинова

Литература

8 класс

Учебник

В двух частях

Часть 2

Под редакцией Б. А. Ланина

Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации

2-е издание, стереотипное

Москва
«Просвещение»
2022

УДК 373.167.1:821.161.1+821.161.1(075.3)
ББК 83.3(2-411.2)я721
Л22

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020.

Эксперты, осуществлявшие экспертизу учебника:
Федоров С. В., Шерстобинова И. А., Багге М. Б., Дунев А. И.

Издание выходит в pdf-формате.

Ланин, Борис Александрович.

Л22 Литература : 8-й класс : учебник : в 2 частях : издание в pdf-формате / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова ; под ред. Б. А. Ланина. — 2-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022.

ISBN 978-5-09-102039-7 (электр. изд.). — Текст : электронный.

ISBN 978-5-09-095227-9 (печ. изд.).

Ч. 2. — 333, [3] с. : ил.

ISBN 978-5-09-101031-2 (электр. изд.).

ISBN 978-5-09-095229-3 (печ. изд.).

Учебник подготовлен в рамках программы «Литература. 5–11 классы» (под ред. Б. А. Ланина). Реализует основные цели и задачи литературы в 8 классе: вводит в круг чтения доступные пониманию подростков произведения разных жанров отечественных и зарубежных авторов; содействует нравственному и мировоззренческому развитию личности; обучает пользованию Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, творческих, коммуникативных задач.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; может быть использован при углублённом изучении предмета.

УДК 373.167.1:821.161.1+821.161.1(075.3)
ББК 83.3(2-411.2)я721

ISBN 978-5-09-101031-2 (ч. 2, электр. изд.)

ISBN 978-5-09-102039-7 (электр. изд.)

ISBN 978-5-09-095229-3 (ч. 2, печ. изд.)

ISBN 978-5-09-095227-9 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

© Художественное оформление.

АО «Издательство «Просвещение», 2021

Все права защищены



Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881)

Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слёзы, — какое умение, какой талант!

В. Г. Белинский

Ф. М. Достоевский родился в Москве в семье лекаря Мариинской больницы для бедных. Отец будущего писателя происходил из духовного сословия, получил дворянское звание в 1828 году. Приобретя несколько лет спустя небольшие имения в Тульской губернии, он жестоко обращался с крестьянами и был убит своими крепостными в 1839 году. Мать — из купеческого звания, была натурой религиозной и поэтической, умерла в 1837 году.

В детстве и в юношеские годы, отличаясь обострённой впечатлительностью, Достоевский читал произведения отечественных авторов — Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, особенно увлекался А. С. Пушкиным и Н. В. Гоголем. Воображение юноши волновали и произведения зарубежной литературы — трагедии У. Шекспира, комедии Мольера, романы Ч. Диккенса.

В 1838 году Достоевский вместе со старшим братом поступил в Петербургское военно-инженерное училище, после окончания которого был зачислен на службу в чертёжную инженерного департамента в 1843 году. Однако через год вышел в отставку, убеждённый, что его призвание — литература.

Роман «Бедные люди»

«Бедные люди» — дебютное произведение Ф. М. Достоевского. Работал он над ним долго и тщательно.

30 сентября 1844 года произведение было почти готово. Ф. М. Достоевский писал своему брату Михаилу: «Я кончаю роман в объёме Eugenie Grandet¹. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю».

¹ «Евгения Гранде» (1833) — роман классика французской литературы Оноре де Бальзака (1799–1850).

ваю... Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь». 4 мая 1845 года он написал брату следующее: «Я вздумал его ещё раз переправлять, и, ей-богу, к лучшему, он чуть ли не вдвое выиграл».

Произведение было опубликовано в «Петербургском сборнике» (1846), изданном Н. А. Некрасовым.

Тема «маленького человека», начатая в творчестве А. С. Пушкина («Станционный смотритель», «Гробовщик») и Н. В. Гоголя («Шинель» и другие произведения из «Петербургских повестей»), получила своё продолжение в творчестве Ф. М. Достоевского.

Продолжая традиции Гоголя, Достоевский описывает чиновника, который терпеливо сносит несправедливости и даже издевательства со стороны сослуживцев. «...Из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по ним, всё переделать нужно! <...> Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек, но, однако же, за что всё это? Что я кому дурного сделал?» Невольно вспоминается пронзающая душу фраза-вопрос гоголевского Башмачкина: «...зачем вы меня обижаете?»

Однако в отличие от Башмачкина, доведённого до крайней степени обезличенности, в Макаре Девушкине (герое произведения Достоевского) сохранена «амбиция»! Например, не без гордости пишет он Варваре Алексеевне Добросёловой, девушке, которая ему небезразлична: «У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже чёрствый; но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю, да всё-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю...»

Временами Макар Девушкин всё же задаётся вопросом: «Отчего это так всё получается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это всё вольнодумство, но по искренности, по правде-истине. Зачем одному ещё во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет выходит? Почему на одном фрак сидит гоголем, смотрит он на вас в золотую лорнетку, а другой — шарманщик, целый день мается? Почему мастеровой какой-нибудь в дымном углу, в конуре старой какой-нибудь, а другой в том же доме в позлащённых палатах?»

Не способный противостоять жизненным невзгодам, Макар Девушкин всё богатство своего доброго сердца отдаёт несчастной Вареньке Добросёловой. «Он любил её не для себя, а для неё самой, — замечает о герое В. Г. Белинский, — и жертвовать для неё всем — было для него счастьем. <...> Можно сказать, что у него все умственные способности из головы перешли в сердце». В отзыве Белинского было сказано, что молодой писатель (Достоевский) впервые в русской литературе нарисовал судьбу «маленького человека» как социальную трагедию, а в бесправной и забитой личности писатель открыл глубокую человечность.

В «Отечественных записках» (март 1846) В. Г. Белинский заметил: «...Гоголь навсегда останется, так сказать, его отцом по творчеству... тут нет никакого даже намёка на подражательность: сын, живя своею собственной жизнью и мыслию, тем не менее всё-таки обязан своим существованием отцу... Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолочённых палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья!“»

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Роман

(В сокращении)

Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдёт в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил.

Кн. В. Ф. Одоевский

Апреля 8.

<...> Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или ещё лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы ещё комната, номер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, — одним словом, всё удобное. Ну, вот это мой уголок. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! — то есть я, пожа-

луй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и гораздо лучшие, — да удобство-то главное; ведь это я всё для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — всё веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьёшь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне всё равно, я неприхотлив. Положите так, для карманных денег — всё сколько-нибудь требуется — ну, сапожишки какие-нибудь, платышко — много ль останется? Вот и всё моё жалованье. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку — недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да, знаете ли, всё как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибёт. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твёрдой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом
Макаром Девушкиным.

Р. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сём посылаю, Варенька, фунтик конфет; так вы их скушайте на здоровье, да, ради бога, обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Знаете ли, что придётся наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики ещё ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые¹ крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я её посредине окна поставила, на самом видном месте; на полу же поставлю скамейку, а на скамейку ещё цветов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате, — чисто, светло! Ну, а конфеты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так — и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и не достаёт в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете — всё здесь есть! Про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам!

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье своё, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

¹ *Пунсовые* (устар.) — пунцовые, ярко-красные.

Ещё раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шёлку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела! А теперь опять всё чёрные мысли, грустно; всё сердце изныло.

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там всё такое горе, что сердце пополам рвётся при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело; всё не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдёте? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было её; я ей дала двадцать копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите всё, как можно подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и ладно ли вы с ними живёте? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша
Варвара Добросёлова.

<...>

Июня 1.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моём комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала её ещё в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством расспрашивали о моём прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моём пребывании у Анны Фёдоровны и, наконец, о недавних не-

счастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

В. Д.

I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство моё было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем¹ огромного имения князя П-го, в Т-й губернии.

Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам² — и нужды нет, что солнце печёт, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвёшь своё платье, — дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я ещё дитёю принуждена была оставить родные места. Мне было ещё только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П-й умер. Наследники

¹ *Управитель* — управляющий; лицо, ведавшее делами помещичьего, купеческого хозяйства.

² *Жнец* — крестьянин, который скашивает (жнёт) хлеб.

отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почёл необходимым своё личное здесь присутствие. Всё это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, тёплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды¹ хлеба и толпились крикливые стаи птиц; всё было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки всё не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то жёлтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Фёдоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смирно, тихо, пошевеливаться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион². Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Всё так сухо, неприветливо было, — гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на всё положенные, общий стол, скучные учителя — всё это меня сначала истерзало, измучило.

¹ *Скирдá* — плотно сложенная солома или сено.

² *Пансио́н* — государственное или частное закрытое учебное заведение, в котором дети не только учатся, но и живут.

<...> Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за её рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы¹ явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою². Всё, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Фёдоровна. Она всё говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предувещаний Анна Фёдоровна, избразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадёжность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Фёдоровне, что её предложение мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно;

¹ *Кредитёр* — тот, кто дал деньги в долг.

² *Гурьбою* — вместе.

грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время.

.....

II

Сначала, покамест ещё мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обоим было как-то жутко, дико у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трёх из них жила Анна Фёдоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, — ребёнок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние её было загадочно, так же как и её занятия. Она всегда суежилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз в день; но что она делала, о чём заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней всё, бывало, гости ездили, и всё бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало, только что зазвенит колокольчик. Анна Фёдоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы ещё чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упрёков в гордости; точно так же я только теперь узнала или по крайней мере предугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Фёдоровны. Злая женщина была Анна Фёдоровна; она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, — а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидела, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так

опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взывайте, чем богата, тем и рада; было ли бы ещё у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так ещё бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было её слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье её становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Фёдоровне; она поминутно говорила, что у неё не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье своё потеряла на работе: она слабела с каждым днём. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь её и близила к гробу. Я всё видела, всё чувствовала, всё выстрадала; всё это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Фёдоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать своё владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от её половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии — всем наукам, как говорила Анна Фёдоровна, и за то получал от неё квартиру и стол; Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Фёдоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня недоучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смиренно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки да-

вал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где ещё учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идёт себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, — разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздразили его чем-то чуть не до слёз, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушёл в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слёз, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слёз. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывести; стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своём лютном жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу, — напротив. Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребёнка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение моё, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить своё мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем положении моём я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей; он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне

случалось встречать. Потому говорю о нём теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания, — так всё, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он всё как-то ёжился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своём уме. Придёт, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдёт — я или Саша, или из слуг, кого он знал добрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнёшь ему головою и позовёшь его — условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец.

Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке¹. При новой жене в доме всё пошло вверх дном; никому житья от неё не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда ещё ребёнком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребёнка под своё покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая ещё в девушках была благодетельствована Анной Фёдоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Фёдоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли — неизвестно. Так мне рассказывала всё это Анна Фёдоровна; сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была

¹ *Мещанин* — городской житель (обыватель).

очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого незначительного человека... Она умерла ещё в молодых годах, года четыре спустя после замужества.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Фёдоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы, с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был ещё не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нём неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чём не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и наконец довёл до того, что тот слушал его во всём, как оракула¹, и рта не смел разинуть без его позволения.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно от неизвестности, как-то его примет сын, обыкновенно долго не решался войти,

¹ *Оракул* — предсказатель, пророк.

и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал — что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, — всё вешал на крюк, всё делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал, все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе и старик примечал это, то тотчас приподымался с места и объяснял, «что, дескать, я так, Петенька, я на минутку. Я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашёл». И потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шляпёнку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипавшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые смешные выражения. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после ещё долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирали свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Всё это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обрезами наружу, улыбался, краснел и не знал, чем заглазить своё престу-

пление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и всё, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок учёный сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Фёдоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребёнком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить моё прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.

Я не знаю, чем бы это всё кончилось, если б сближению нашему помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Фёдоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был учён, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я ду-

мала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запылённый, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть её ночью, у ночника, когда заснёт матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полусгнившее, всё изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, — сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошёл в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моём ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резвлюсь, как десятилетний ребёнок; я глупая девочка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого не доставало ещё! — закричал он. — Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уймётесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно, — закричал он. — Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягчённый моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребёнок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошёл с смущённым

видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется, в чём-то извинялся, может быть, в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец я поняла. Я не помню, что со мной тогда случилось; я смешалась, потерялась, покраснела ещё больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Я не знала, что мне оставалось делать, куда было деваться от стыда. Одно то, что он застал меня в своей комнате! Целых три дня я на него взглянуть не могла. Я краснела до слёз. Мысли самые странные, мысли смешные вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, объяснить с ним, признаться ему во всём, откровенно рассказать ему всё и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с добрым намерением. Я было и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости не достало. Воображаю, что бы я надела! Мне и теперь обо всём этом вспоминать совестно.

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жару и бре-ду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у её кровати, подносила ей питьё и давала в определённые часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю — я не могу припомнить себе, — но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение моё взволновано было ужасным сном; тоска сдавила моё сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошёл к нам в комнату.

Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны, — сказал он, взяв меня за руку, — у вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбужу через два часа, успокойтесь немного... Ложитесь же, ложитесь!» — продолжал он,

не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство.

На другой день, когда я, отдохнув немного днём, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твёрдо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, — сказал он мне, — вот вам книга; возьмите; всё не так скучно будет». Я взяла; я не помню, какая это была книга; вряд ли я тогда в неё заглянула, хоть всю ночь не спала. Странное внутреннее волнение не давало мне спать; я не могла оставаться на одном месте; несколько раз вставала с кресел и начинала ходить по комнате. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровский не заходил более; и я знала, что он не придёт, и загадывала о будущем вечере.

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу; помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нём и сочиняла мои вопросы и ответы... С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во всё продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя, после каждого разговора нашего, всё ещё было за что на себя подсаживать. Впрочем, я с тайною радостью и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шутку, разговор зашёл раз о падении их с полки. Минута была странная, я как-то *слишком* была откровенна и чистосердечна; горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всём... в том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребёнком...

<...> Моему сердцу было так тепло, так хорошо!.. Я не скрывалась, не таилась ни в чём; он всё это видел и с каждым днём всё более и более привязывался ко мне.

И право, не помню, о чём мы не переговорили с ним в эти мучительные и вместе сладкие часы наших свиданий, ночью, при дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки?.. Обо всём, что на ум приходило, что с сердца срывалось, что просилось высказаться, — и мы почти были счастливы... Ох, это было и грустное и радостное время — всё вместе; и мне и грустно и радостно теперь вспоминать о нём. Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и живут его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живут бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного.

Матушка выздоравливала, но я ещё продолжала сидеть по ночам у её постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностью; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомаго мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, чем более смущения и труда стоил мне приём новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом, вдруг, втолпились они в моё сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать всё существо моё. Но это духовное насилие не могло и не в силах было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня.

Когда кончилась болезнь матушки, наши вечерние свидания и длинные разговоры прекратились; нам удавалось иногда меняться словами, часто пустыми и малозначащими, но мне любо было давать всему своё значение, свою цену особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо счастлива. Так прошло несколько недель...

Как-то раз зашёл к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; смеялся, острил по-своему и наконец разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придёт к сыну; что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всём, что ему на ум попадалось.

День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни днём, ни ночью. Я непременно решила напомнить о своей дружбе

Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании¹, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрёну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплёт, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженною без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения.

Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось; на завтра же встретилась какая-то надобность и у нас и у Анны Фёдоровны. Матушке понездоровилось. Анна Фёдоровна очень кстати поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матрёной.

К моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма красивом переплёте. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках; но потом, впрочем не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне весело было торговаться!.. Бедная Матрёна не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать, просила-просила его, наконец упросила. Он уступил, но только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого

¹ Первое посмертное издание «Сочинения Александра Пушкина» напечатано в 11 томах в 1838–1841 гг.

кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей не доставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моём горе. Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидела старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро букинистов; они его сбили с последнего толку, затормозили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему, и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила — что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, — отвечал он мне, — Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки, так вот я и покупаю их для него...» Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему ни приценится, всё рубль серебром, два рубля, три рубля серебром; уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет, нет, это дорого, — говорил он вполголоса, — а вот разве отсюда что-нибудь», — и тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи; это всё было очень дёшево. «Да зачем вы это всё покупаете, — спросила я его, — это всё ужасные пустяки». — «Ах, нет, — отвечал он, — нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щёк на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, — тут беденький вынул все свои деньги, завёрнутые в засаленную газетную бумажку, — вот полтинничек¹, двугривенничек², меди копеек на двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною, и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, под

¹ *Полтѣйник* (разг.) — монета достоинством в 50 копеек.

² *Двугрѣвенник* (разг.) — монета достоинством в 20 копеек.

мышки и унёс всё к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.

На другой день старик пришёл к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашёл к нам и подсел ко мне с прекомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрёны. Потом разговор естественно перешёл на ожидаемый праздник; потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нём говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чём он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я всё ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничанье, подмигиванье левым глазком, исчезли. Он делался поминутно всё беспокойнее и тоскливее; наконец он не выдержал.

— Послушайте, — начал он робко, вполголоса, — послушайте, Варвара Алексеевна... знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. — Старик был в ужасном замешательстве. — Видите: вы, как придёт день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть собственно с своей стороны. Так вот, видите ли — и у вас будет что-нибудь подарить, и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь подарить. — Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него; он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» — «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так... я ведь, оно, того...» — одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места.

— Видите ли, — объяснился он наконец. — Я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас... то есть я хочу доложить вам, что я почти и всё балуюсь и всегда балуюсь... придерживаюсь того, что нехорошо... то есть, знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруше это очень неприятно. Он вот, видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему

подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве, случится, Петруша кое-когда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что всё это я для него одного делаю.

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, — сказала я, — вы подарите их ему все!» — «Как все? то есть книжки все?..» — «Ну да, книжки все». — «И от себя?» — «От себя». — «От одного себя? то есть от своего имени?» — «Ну да, от своего имени...» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня.

«Ну да, — говорил он, задумавшись, — да! это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» — «Ну, да я ничего не подарю». — «Как! — закричал старик, почти испугавшись, — так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствия. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то моём, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас ещё два часа, но всё это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Фёдоровне. Анна Фёдоровна прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга так расхотелся, как, может быть, никогда ещё не бывало с ним.

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Фёдоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешёл вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если человек не ведёт себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совер-

шенно исправился и что теперь ведёт себя примерно хорошо. Что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он всё это давно чувствовал и всё на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. В доказательство чего дарит книги на скопленные им, в продолжение долгого времени, деньги.

Я не могла удержаться от слёз и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от неё не отставала. Покровский был ко мне внимателен и всё искал случая поговорить со мною наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые четыре года моей жизни.

А теперь всё пойдут грустные, тяжёлые воспоминания; начнётся повесть о моих чёрных днях. Вот отчего, может быть, перо моё начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, чёрное горе, которое бог один знает когда кончится.

Несчастья мои начались болезнью и смертью Покровского.

Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он ещё не имел определённого положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казённом месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи; характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей лёгкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места — что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождём и, наконец, слёг в постель, с которой не вставал уже более... Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.

Я почти не оставляла его комнаты во всё продолжение его болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он

редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чём: о своём месте, о своих книгах, обо мне, об отце... и тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чём даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно; Анна Фёдоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза, и за участие моё к Покровскому меня не стали осуждать более — по крайней мере матушка.

Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти всё время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго-долго, неясными тёмными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу; мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как иступлённый; он ужасно страдал, тосковал; стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Фёдоровна всё молилась, чтоб бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрёт к утру непременно.

Старик Покровский целую ночь провёл в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и всё что-то шептал про себя, о чём-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдёт с горя.

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.

Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то всё просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце моё надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чём-то всё тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводи́ла ему всех наших, давала ему пить; но он всё грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет божий, на солнце. Я отдёрнула занавес; но начинающий-

ся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стёкла и омывал их струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затеплённой перед образом. Умиравший взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.

Похоронами распорядилась сама Анна Фёдоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек Анна Фёдоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дня и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостью всё хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чём не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Фёдоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Фёдоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх — словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять её. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила наконец за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бро-

силась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала её крепко-крепко в руках своих, целовала её и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти... Но смерть уже стояла над бедной матушкой!

.....

<...>

Июня 26.

<...> А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них третьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и — разное там ещё обо всём об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано! Литература — это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выражение, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я всё у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь (тоже, как и они, трубку куришь, пожалуй), — а как начнут они состязаться да спорить об разных материях, так уж тут я просто пасую, тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придётся. Тут я просто болван болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер приискиваешь, как бы в общую-то материю хоть полсловечка ввернуть, да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет! И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что, по пословице — вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать. И себе полезно и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им господь! Вот хоть бы и Ратазяев, — как берёт! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берёт. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь — пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет — так мы и по тысяче другой раз в карман кладем! Каково, Варвара Алексеевна? Да что! Там у него стихов тетрадошка есть, и стихок всё такой небольшой, семь тысяч, маточка, семь тысяч просит, подумайте. Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный! Говорит, что пять тысяч дают ему, да он не берёт. Я его урезониваю, говорю — возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте им, — ведь деньги пять тысяч! Нет, говорит, семь дадут, мошенники. Увёртливый, право, такой!

А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, выпишу из «Итальянских страстей»¹ местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами.

«...Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нём, и кровь вскипела...

— Графиня, — вскричал он, — графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальёт бешеного, kloкочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истомлённую грудь. О Зинаида, Зинаида!..

— Владимир!.. — прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо...

— Зинаида! — закричал восторженный Смельский.

Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбормоздил грудь несчастных страдальцев.

— Владимир!.. — шептала в упоении графиня. Грудь её вздымалась, щёки её багровели, очи горели...

Новый, ужасный брак был совершён!

.....

Через полчаса старый граф вошёл в будуар жены своей.

— А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? — сказал он, потрепав жену по щеке».

Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого — ну, как вы находите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо!

<...>

Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно-описательном роде, собственно для смехотворства написанный:

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Про-

¹ «Итальянские страсти» — сочинение Ратазиева, попавшего в «Бедные люди» в качестве литературной пародии на тех писателей-эпигонов (то есть творчески неоригинальных последователей), чьи произведения были посредственным подражанием, например, романтическому стилю подлинно художественных творений.

кофий Иванович чрезвычайно любит редьку с мёдом. Вот когда ещё была с ним знакома Пелагея Антоновна... А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку».

Да ведь это умора, Варенька, просто умора! Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этаким он, прости его господи! Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазиев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писатели.

А что, в самом деле, ведь вот иногда придёт же мысль в голову... ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом — «Стихотворения Макара Девушкина»! Ну что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот де идёт сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках, да и подмётки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагоприятно. Ну что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса¹ узнала бы, ну что бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь), да ей бы рассказали про всё, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратазиев бы первый выдал; он к графине В. ездит; говорит, что каждый раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратазиев!

Да, впрочем, довольно об этой материи; я ведь это всё так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой! Много я вам тут настроичил, но это собственно оттого, что я сегодня в самом весёлом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазиева, так (шалуны они, маточка!) пустили в ход такой романи... ну да уж что вам писать об этом! Вы только смотрите не

¹ *Контесса-дюшесса* — графиня-герцогиня (франц. Comtesse-duchesse).

придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это всё так. Книжечк пришло, непременно пришло... Ходит здесь по рукам Поль де Кока¹ одно сочинение, только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет... Ни-ни! для вас Поль де Кок не годится. Говорят про него, маточка, что он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит. Посылаю вам фунтик конфеток, — нарочно для вас купил. Скушайте, ду-шечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, мож-ет быть, и цукаты любите? — вы напишите. Ну, прощайте же, прощай-те. Христос с вами, голубчик мой. А я пребуду навсегда

вашим вернейшим другом
Макаром Девушкиным.

Июня 27.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

<...>

Федора мне достала книжку — «Повести Белкина», которую вам по-сылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запачкайте и не за-держите: книга чужая; это Пушкина сочинение. Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне, — только в таком случае, когда вы их не от Ратазиева получили. Он, навер-но, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравятся его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустяки... Ну, про-щайте! как я заболталась! Когда мне грустно, так я рада болтать, хоть об чём-нибудь. Это лекарство: тотчас легче делается, а особливо если выскажешь всё, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг!

Ваша
В. Д.

<...>

Июля 1.

Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так!

¹ *Поль де Кок* (1793–1871) — французский романист.

А я вижу теперь, что это всё блажь. Да чего же вам недостаёт у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы — чего же более? Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, ещё не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего неостанет, так он его истерзает укором, попрёком да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, — словно в гнёздышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное... Вот я об вас думаю теперь, и мне весело... Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нём изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам купил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию... Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте — что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свёз; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлёрница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчёт вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек неучёный; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: «Картину человека»¹, умное со-

¹ Имеется в виду «Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем» (СПб., 1834).

чинение, читал; «Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках»¹ читал да «Ивиковы журавли»², — вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я «Станционного смотрителя» здесь в вашей книжке прочёл; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живёшь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнёшь читать в такой книжке, так сам всё помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего ещё я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, — я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, — словно сам написал, точно это, примерно говоря, моё собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё подробно — вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано всё! Меня чуть слёзы не прошибли, маточка, когда я прочёл, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком³ захлёбывается, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! Вы прочтителька; это натурально! — это живёт! Я сам это видал, — это вот всё около меня живёт; вот хоть Тереза — да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник, — ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, *Горшков*. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живёт, и он будет то же самое, так только

¹ Популярный роман французского писателя Ф. Дюкре-Дюминия (1761–1819) назывался «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками».

² «Ивиковы журавли» — баллада Ф. Шиллера, которую перевёл на русский язык В. А. Жуковский в 1813 г.

³ *Пунш* — горячий напиток из смеси рома, чая, сахара, лимонного сока.

казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, всё может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы ещё тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неоперившийся, где же вам самоё себя прокормить, от гибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу ещё раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесёт.

Говорил я про «Станционного смотрителя» Ратазиеву. Он мне сказал, что это всё старое и что теперь всё пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключение же, что Пушкин хорош и что он святую Русь прославил, и много ещё мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку ещё раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит.

Ваш искренний друг
Макар Деушкин.

Июля 6.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, — прелесть какая материя, — жёлтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут всё разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием «Шинель»¹. Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять всё боюсь, не дорого ли будет стоять эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по недостаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было

¹ Речь идёт о повести Н. В. Гоголя «Шинель», опубликованной в 1842 г.

бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи — что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке.

В. Д.

Р. С. Знаете ли, если мы пойдём в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча чёрную мантилью¹. Хорошо ли это будет?

<...>

Августа 4.

Любезный Макар Алексеевич!

Ради бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег; я бы ни за что не попросила у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково моё положение! В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении! Вообразите, друг мой: сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас? Федора вышла в это время в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и, не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера; что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ослабил нас на весь дом; сказал, что племянник его мальчишка и ветрогон и что он готов взять меня под свою защиту; не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнает обо мне, как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всём помогать. Я вся краснела, не знала что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки (бог знает, что он говорил!), и, наконец, хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик (он был такой гадкий!). Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благона-

¹ *Мантилья* — лёгкая женская накидка без рукавов, которую носили летом или как дополнение к бальному наряду.

вие и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, повторил ещё раз все свои уверения, сказал, что ещё раз ко мне приедет и привезёт мне серёжки (кажется, он сам был очень смущён); советовал мне переменить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и которая мне ничего не будет стоить; сказал, что он очень полюбил меня, затем что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодёжи и, наконец, объявил, что знает Анну Фёдоровну и что Анна Фёдоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я всё поняла. Я не знаю, что со мною случилось; в первый раз в жизни я испытывала такое положение; я из себя вышла; я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что это всё дело Анны Фёдоровны: иначе с какой стороны ему знать о нас?

Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради бога, в таком положении! Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег, нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более: так и Федора советует. Нам нужно по крайней мере рублей двадцать пять; я вам эти деньги отдам; я их заработаю; Федора мне на днях ещё работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на всё. Я вам всё отдам, только, ради бога, не оставьте меня помощью. Мне многого стоит беспокоить вас теперь, когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя! Прощайте, Макар Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам бог успеха!

В. Д.

Августа 4.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня! Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой! Кроме того, что сброд этих лизоблюдников разных и старикашек негодных вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет, кроме этого всего — они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотят. И изведут, клятву кладу, что изведут! Ведь вот и теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь! Не помо-

ги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помощи, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнёздышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались. Вот это меня и мучает, маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой, страдаете, да ещё горюете, что меня беспокоить нужно, да ещё обещаетесь долг заработать, то есть, по правде сказать, убиваться будете с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чём вы толкуете! Да зачем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную заботою мучить, ваши глазки хорошенькие портить и здоровье своё убивать? Ах, Варенька, Варенька, видите ли, голубчик мой, я никуда не гожусь, и сам знаю, что никуда не гожусь, но я сделаю так, что буду годиться! Я всё превозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу; потому что ведь они, маточка, ищут хороших писцов, я это знаю, что ищут, а вам себя изнурять не дам; пагубного такого намерения не дам вам исполнить. Я, ангельчик мой, непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого, — и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу сорок рублей ассигнациями; ведь не много, Варенька, как вы думаете? Можно ли сорок-то рублей мне с первого слова поверить? то есть, я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить с первого взгляда вероятие и доверенность? По физиономии-то, по первому взгляду, можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик, способен ли я ко внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чувствуется, — болезненно, истинно сказать болезненно! Из сорока рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька; два целковых хозяйке, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите всё дело, маточка, перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно, нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги; я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы необходим, ибо старому скоро год минет; но так как вы мне из старого фартучка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так вот, са-

поги и платок есть. Теперь пуговики, дружок мой! Ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговинок быть нельзя, а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут — да что скажут! Я, маточка, и не услышу, что скажут; ибо умру, умру, на месте умру, так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли одной! Ох, маточка! Да вот ещё останется от всех необходимостей трёхрублёвик; так вот это на жизнь и на полфунтика табачку; потому что, ангельчик мой, я без табаку-то жить не могу, а уж вот девятый день трубки в рот не брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего не сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь; так вот для того и говорю вам всё это, чтобы угрызания совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого; недостатки страшнейшие, долги; а в должности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было масленицы, — теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех всё скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком-бочком, сторонюсь от всех. Ведь это вам только признаться достаёт у меня силы душевной... А ну, как не даст! Ну, нет, лучше, Варенька, и не думать об этом и такими мыслями заранее не убивать души своей. К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мыслию злою не мучились. Ах, боже мой, что это с вами-то будет тогда! Оно правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете, и я буду с вами, — да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно, оно всё благообразнее, а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то господи! Помолюсь, да и в путь!

М. Деушкин.

<...>

Сентября 5.

<...>

Пришёл я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец.

Я ещё утром заметил, что он всё что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житьё-бытьё не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот, вошёл мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда, на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же, взял стакан. Хотел было без сахара пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахара, долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эх, до уничтожения какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка?» — сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь семейству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, говорит, каково!» Я было хотел говорить, да он меня прервал: «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они всё гордые и кичливые¹. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь займы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете — и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание». Заключение же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и моё неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка, Макар Алексеевич, — говорит он мне, — я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел), жена, говорит, дети, — голодно — хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так», — говорю. «Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». Ну я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, всё доброе дело! Эх, нищета-то! Разгово-

¹ *Кичливый* — высокомерный, заносчивый.

рился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да ещё при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперёд за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то своё разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казённого интереса. Уж несколько лет дело идёт: всё препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же, на меня взводимом, — говорит мне Горшков, — неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но, до совершенного своего оправдания, он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что всё в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распуташь. Чуть немного распутают, а купец ещё крючок да ещё крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадёжность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего, совершенно некстати, ребёнок родился, — ну, вот издержки; сын заболел — издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждёт на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко.

Ваш истинный друг
Макар Девушкин.

Матушка, Варвара Алексеевна!

Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что всё кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал; я всё это предчувствовал. Всё это заранее слышалось моему сердцу! Я даже на медни во сне что-то видел подобное.

Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошёл я сегодня в должность. Пришёл, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что — вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идёт. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти всё вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, — только пропустил я целую строчку; смысл-то и вышел господь его знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали её на подписание его превосходительству только сегодня. Я как ни в чём не бывало являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядом с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мёртв. Вот точно так сегодня, преник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатались со смеху, и, уж разумеется, на мой счёт. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелиюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в гру-

ди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда ещё в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, — и как ни в чём не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: «Макар Алексеевич, к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду — ну, да уж просто ни жив ни мёртв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет — предстал! Положительного отчёта, об чём я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моём. Может быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили.

Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы её портите. И как же вы это», — тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Нерадение! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать — покуситься не смел, и тут... тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка — ну её к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке, — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел её нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и всё было моё оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, — катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют,

что уж всё, всё потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да ещё улыбаюсь, да ещё улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули — слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут — как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чём не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу...» — «Ну, облегчить его как-нибудь, — говорит его превосходительство. — Выдать ему вперёд...» — «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперёд забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». Я, ангельчик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал! «Ну, — говорят его превосходительство громко, — переписать же вновь поскорее; Деушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте...» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжничек и из него сторублёвую. «Вот, — говорят они, — чем могу, считайте, как хотите...» — да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да — вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс её, так-таки взял да потряс, словно равне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу... Ошибок не делайте, а теперь грех пополам».

Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Ещё скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение моё и мою неспособность, несмотря на всё это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, солومه, пья-

нице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твёрдо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастье и благополучии его превосходителства дойдёт до престола его!..

Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Моё сердце бьётся, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать пять оставляю: на двадцать платье поправлю, а пятнадцать оставляю на житьё-бытьё. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли всё существование моё. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелён от всех ощущений этих... Бог видит всё, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная!

Ваш достойный друг
Макар Девушкин.

<...>

Сентября 15.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошёл сам к Федоре и стал наведываться, где она живёт. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живёт. (Видно, Анна Фёдоровна всё ему рассказывала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье моё навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я ещё слишком молода, что у меня ещё в голове бродит и *что и наши добродетели потускнели* (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей кварти-

ры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; всё рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся; Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он всё про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, её золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Фёдоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придёт! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала всё это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего ещё им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь; так вот и думаю, что войдёт сию минуту Быков. Что со мною будет! Что ещё мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради бога, зайдите.

В. Д.

Сентября 18.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметьте вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нём за нерадение и неосмотрительность — на всё вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и всё стало лучше, — одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришёл он сегодня в три часа домой. На нём лица не было, бледный как полотно, губы у него трясут-

ся, а сам улыбается — обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки всё, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое — говорит: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», — и как говорил-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазиев, видно, хотел его ободрить и сказал: «Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; вот за что бога благодарите!» — и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазиева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и унижение изъясляешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца... но, впрочем, не во мне тут и дело! «Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!» — и потом всё время, как мы у него были, твердил: «Слава богу, слава богу!..» Жена его заказала обед поделikatнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдёт, улыбнётся, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет — и уйдёт. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвёртого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так», — и ушёл от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошёл, и всё улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мёртвый. Жена его плакала от радости; весело так всё у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», — да и пошёл на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил по головке ребёнка. Потом опять оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш,

говорит, Петенька?..» Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, да, знаю, всё знаю, Петенька теперь в царстве небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». — «Да, хорошо, я сейчас... я немножко», — тут он отвернулся, полежал немножко, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко — ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась — видит, муж ещё не проснулся и лежит себе, не шелохнётся. Она думала, что спит, села, и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чём она думала, говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила её прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит всё в одном положении. Она подошла к нему, сдёрнула одеяло, смотрит — а уж он холодёхонек — умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер — бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идёт; следствие медицинское будут делать... уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох как жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь. Погибаешь этак ни за что...

Ваш
Макар Девушкин.

<...>

Сентября 23.

Дорогой друг мой,
Макар Алексеевич!

Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много, много забот, много тревоги.

Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошёл по своему

обыкновенно с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время; щёки и глаза мои ввалились, я была бледна, как платок... действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое; я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чём расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): «Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Фёдоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподающая женщина». (Тут он ещё назвал её одним неприличным словом.) «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красноречиво говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чём обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезёт меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрёк мне неминуемую смерть, если я хоть месяц ещё так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего?

Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слёзы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и учёная девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всею подробностью о моём теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про всё слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот рублей за всё, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не запла-

тишь, то он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы, что я ещё молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; «тогда, — прибавил он, — и людей узнаете». Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принуждён будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепёшка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушёл. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего ещё спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастья терять не нужно; говорит — что же в таком случае и называется счастьем? Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работою я и так всё здоровье испортила; работать постоянно я не могу. В люди идти? — я с тоски исчахну, к тому же я никому не ужоу. Я хвораю от природы и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что же мне делать? Из чего выбирать мне?

Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает бог, буду ли я счастлива, в его святой, неисповедимой власти судьбы моей, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака?

Уведомляю вас обо всём, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймёте всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши

будут тщетны. Взвесьте в своём собственном сердце всё, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как бог пошлёт!..

Пришёл Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много ещё хотела сказать вам. Быков уж здесь!

В. Д.

Сентября 23.

Маточка, Варвара Алексеевна!

Я, маточка, спешу вам отвечать; я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлён. Всё это как-то не того... Вчера мы похоронили Горшко-ва. Да, это так, Варенька, это так; Быков поступил благородно; только вот, видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всём воля божия; это так, это непременно должно быть так, то есть тут воля-то божия непременно должна быть; и промысел творца небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчик мой, — только вот, видите ли, Варенька, как же это так скоро?.. Да, дела... у господина Быкова есть дела — конечно, у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться... видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только всё это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, всё взвешиваю, всё взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моём всё это взвешиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли! Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сделать нужно, башмачки разные, платице, а вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой; помните, как я вам ещё его всё описывал. Да нет же! Как же вы, маточка, что вы! ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно. Ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь как из ведра льёт, и такой мокрый дождь, да ещё... ещё то, что вам холодно будет, мой ангельчик; сердечку-то вашему будет холодно! Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого

здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастье ожидает большое... да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдёте ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я бы вас пошёл посмотреть. Оно, правда, маточка, совершенная правда, что вы девица учёная, добродетельная и чувствительная, только пусть уж он лучше женится на купчихе! Как вы думаете, маточка? пусть уж лучше на купчихе-то женится! Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнётся, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждёте Быкова, а как он уйдёт, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...

Макар Девушкин.

<...>

Сентября 28.

Милостивый государь,
Макар Алексеевич!

Ради бога, бегите сейчас к брильянтику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперёд знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что ещё далеко до праздников. Вот он как говорит! А бог видит, нужно ли мне всё это! Сам же господин Быков всё заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мною будет!

В. Д.

Сентября 28.

Голубчик мой, Варвара Алексеевна!

Я — то есть брильянтик говорит — хорошо; а я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и простуды напали, враг их возьми! Тоже уведомляю вас, что к довершению несчастий моих и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и под конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всём.

Да ещё хотел вам написать что-нибудь, только вас утруждать боюсь. Ведь я, маточка, человек глупый, простой, пишу себе что ни попало, так, может быть, вы там чего-нибудь и такого — ну, да уж что!

Ваш
Макар Девошкин.

Сентября 29.

Варвара Алексеевна, родная моя!

Я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчёт его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да ещё: счёты из магазина я в Гороховой проверил; всё верно, да только очень дорого. Только за что же господин-то Быков на вас сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я рад; да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришёл в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так вот я всё насчёт писем: ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да! Вы Федору-то благодетельствовали, родная моя! Это доброе дело вы сделали, друг мой; это вы очень хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас господь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости божией, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вам много хотел написать, так, каждый час, каждую минуту всё бы писал, всё бы писал! У меня ещё ваша книжка осталась одна, «Белкина повести», так вы её, знаете, маточка, не берите её у меня, подарите её мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так её читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима; вечера будут длинные; грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь; к тому же она такая работающая. Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши плечки, а на них шитьё, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитьё рассматривал. Остались ещё тут лоскуточки разные. На одно письмецо моё вы ниточки начали было наматывать. В столике нашёл бумажки листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу» — и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кровать стоит... Голубчик вы мой!!!

Ну, прощайте, прощайте; ради бога, отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее.

Макар Девушкин.

Сентября 30.

Бесценный друг мой, Макар Алексеевич!

Всё совершилось! Выпал мой жребий; не знаю какой, но я воле господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да снизойдёт на вас благословение божие! Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего; тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы только одни здесь любили меня. Ведь я всё видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня! Как вы одни здесь останетесь! На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный друг мой! Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше всё, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня, всё, что я ни написала бы вам; а чего бы я ни написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комодке у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О! Как мне грустно, как давит всю мою душу! Господин Быков зовёт меня. Вас вечно любящая

В.

Р. S. Моя душа так полна, так полна теперь слезами...

Слёзы теснят меня, рвут меня. Прощайте.

Боже! как грустно!

Помните, помните вашу бедную Вареньку!

Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете?! Вот я от вас письмо сейчас получил, всё слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвёт. Вы там умрёте, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! Господин Быков будет всё зайцев травить... Ах, маточка, маточка! на что же вы это решились, как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как пёрышко слабенькие! И я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел! Вижу, дитя блажит, у дитяти просто головка болит! Чем бы тут попросту — так нет же, дурак дураком, и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто и прав, как будто и дело до меня не касается; и ещё за фальбалой¹ бегал!.. Нет, я, Варенька, встану; я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю, так вот я и встану!.. Я, маточка, под колёса брошусь; я вас не пущу уезжать! Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву всё это делается? Я с вами уеду; я за каретой вашей побегу, если меня не возьмёте, и буду бежать что есть мочи, покамест дух из меня выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, там степь, голая степь; вот как моя ладонь голая! Там ходит баба бесчувственная да мужик необразованный, пьяница ходит. Там теперь листья с деревьев осыпались, там дожди, там холодно, — а вы туда едете! Ну, господину Быкову там есть занятие: он там будет с зайцами; а вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? Но, херувимчик вы мой! Вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помещицу?.. Да как же может быть такое, Варенька!

К кому же я письма буду писать, маточка? Да! вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, — дескать, к кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду; именем-то любезным таким кого

¹ *Фальбалá* (*фалбалá*) (устар.) — сборки (на подоле женского платья, на портьерах и т. п.).

называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесёт моё сердце такого несчастья! Я вас, как свет господень, любил, как дочку родную любил, я всё в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, всё оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это всё было именно так! Да, послушайте, маточка, вы рассудите, голубчик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно; просто решительно никакой возможности нет! Ведь вот дождь идёт, а вы слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет; она непременно промокнет. Она, только что вы за заставу выедете, и сломается; нарочно сломается. Ведь здесь в Петербурге прескверно кареты делают! Я и каретников этих всех знаю; они только чтоб фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить, а непрочно! присягну, что непрочно делают! Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь; я ему докажу, всё докажу! И вы, маточка, докажите; резонем докажите ему! Скажите, что вы остаётесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла; уж это я знаю почему! А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалу-то всё закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идёт о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка — фальбала; она, маточка, фальбала-то — тряпица. Да я вот вам сам, вот только что жалование получу, фальбалы накуплю; я вам её накуплю, маточка; у меня там вот и магазинчик знакомый есть; вот только жалования дайте дожидаться мне, херувимчик мой, Варенька! Ах, господи, господи! Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно уезжаете! Ах, маточка!.. Нет, вы мне ещё напишите, ещё мне письмецо напишите обо всём, и когда уедете, так и оттуда письмо напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо; а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишите... А то у меня и слог теперь формируется... Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, ни-

как не знаю, ничего не знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!



Решаем читательские задачи

1. Что общего между Макаром и Варенькой? Почему критики назвали их «маленькими людьми»?
2. Какими чувствами пронизаны их письма?
3. Какие истории рассказывают они друг другу? Чем похожи эти истории?
4. Как люди относятся к Макару и Вареньке? Как они относятся к людям?
5. Что ценят и чего не приемлют в людях Макар и Варенька? Какие человеческие качества и достоинства они ставят превыше всего?
6. Герои романа используют в письмах специфические, только им присущие слова и выражения. Какие это слова? Чем вы их объясните? Как они характеризуют переписывающихся?
7. Какие книги читают Макар и Варенька? Найдите в тексте их высказывания о прочитанных произведениях. Многие из них вы уже изучали в школе, некоторые, возможно, прочитали в свободное время сами. Согласны ли вы с оценками, которые дают этим произведениям Макар и Варенька? Если не согласны, то с какими замечаниями? Насколько глубоки и основательны оценки героев? Они помогли вам лучше понять эти произведения? А лучше понять «бедных людей»?
8. Какое место в композиции «Бедных людей» занимает «Дневник» Вареньки Добросёловой? Почему автору пришлось прибегнуть к такой форме повествования в эпистолярном романе?
9. Что стало причиной Варенькиного замужества? Почему Варенька выходит замуж за Быкова, человека скуповатого и недоброго?
10. Как Макар Девушкин реагирует на замужество Вареньки? Каким видится его будущее после отъезда Вареньки?
11. Известно, что первые читатели Ф. М. Достоевского сразу же отметили связь его творчества с традициями Н. В. Гоголя. Какие «уроки» проявились в этом произведении?
12. Роман Ф. М. Достоевского называется «Бедные люди». Относится ли это название только к главным героям, Макару Девушкину и Вареньке Добросёловой, или в романе есть ещё «бедные люди»? Кто они? Чем их судьба напоминает судьбы главных героев?



Обсудим вместе

1. Почему живущие неподалёку друг от друга Макар и Варенька переписываются? Чем это можно объяснить: наличием у героев писательских амбиций или отсутствием возможности видаться? А может быть, в письмах герои могут выразить своё душевное состояние, эмоции более осознанно, глубоко?

2. В нескольких письмах Девушкин рассказывает историю бедного чиновника Горшкова. Чувствуется, что он взволнован и потрясён этой историей. Насколько она исключительна? Быть может, это типичная история бедного человека той поры? Может ли она в будущем случиться с самим Макаром Девушкиным?

3. Как вы расцениваете эпизод с пуговицей? Можно ли считать, что в нём выражены мысли автора о роли счастливого случая, возможно-го в жизни каждого человека?

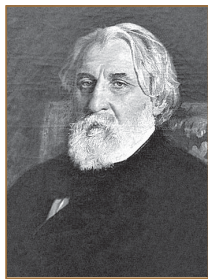
4. Макар Девушкин заботлив и нежен с Варей. Почему же она предпочитает Быкова Макару Девушкину?

5. Почему Макар Девушкин не может изменить свою жизнь?



Творческие задания (исследования, проекты)

Напишите краткое эссе «Чем богаты „бедные люди“».



Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)

В середине 40-х годов XIX века Н. А. Некрасов издал два литературных сборника, сразу привлёкших особое внимание читающей публики необычно резким, правдивым освещением жизни: «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов» и «Петербургский сборник», в котором и начал свой путь в большую литературу Иван Сергеевич Тургенев.

Блестяще образованный, говоривший и писавший на нескольких языках, великолепный знаток мировой литературы, добродушный и безотказный барин, Тургенев мог иногда мгновенно рассвирепеть. В состоянии гнева его приводило любое упоминание о крепостном праве. Он чувствовал свою материальную зависимость от труда крепостных, но поделаться ничего не мог: хозяйкой была его мать. Разрыва с ней было не избежать. В один из приездов Тургенева в родовое поместье Спасское-Лутовиново помещица-мать выстроила крепостных вдоль дороги для громкого приветствия молодого барина. Увидев это представление, Тургенев немедленно развернул экипаж и, даже не повидавшись с матерью, уехал. Такой обиды мать ему простить не смогла...

Тургенев вступает в русскую литературу в николаевскую эпоху, так описываемую А. И. Герценом:

«Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, всё передовое, энергичное вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место: они мало-помалу превратились в подбострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались...»

Как-то Тургенев рассказал эпизод, с которого и началось его непримиримое отношение к крепостному праву: «Старая, вспыльчивая ба-

рыня, поражённая параличом и почти неподвижно сидевшая в кресле, рассердившись однажды на казачка, который ей служивал, за какой-то недосмотр, в порыве гнева схватила полено и ударила мальчика по голове так сильно, что он упал без чувств. Это зрелище произвело на неё неприятное впечатление; она нагнулась и приподняла его на своё широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, — *и, севши на неё, задушила его.* — Само собою разумеется, эта величественная барыня ничем за это не поплатилась».

Тургеневу представилась возможность поступить со своими крепостными по справедливости. В 1850 году умерла его мать. Писатель наследует огромное хозяйство, прекрасные имения, став по-настоящему богатым и независимым человеком. Его первые шаги по управлению хозяйством касались крепостных: «Я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевёл на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть — и в главном имении не взял ничего за усадьбную землю, что составляло крупную сумму». Быть может, один только этот шаг поможет понять, почему его любимым литературным героем всегда оставался Дон Кихот...

Цикл рассказов «Записки охотника»

Писательский талант Тургенева развивался неспешно. Настоящим писателем он стал к тридцати годам, когда впервые проявил свой талант в рассказе «Хорь и Калиныч», первом рассказе из «Записок охотника», напечатанном в журнале «Современник» в 1847 году.

«Вы и сами не знаете, что такое „Хорь и Калиныч“, — писал Белинский Тургеневу. — Судя по „Хорю“, вы далеко пойдёте. Это ваш настоящий род... Найти свою дорогу, узнать своё место — в этом всё для человека, это для него значит сделаться самим собою».

Затем в течение пяти лет в том же «Современнике» опубликованы ещё 20 произведений. В 1852 году «Записки охотника» вышли отдельным изданием. К опубликованному прежде 21 рассказу был добавлен ещё один — «Два помещика». Тургенев достиг подлинной литературной славы. Книги расходились очень бойко, в то время как автор отбывал два месяца под арестом: охранка успела оценить антикрепостнический настрой сборника гораздо решительнее литературных критиков... Действительно, в развитии демократических идей в России «Записки охотника» сыграли неоценимую роль.

50-е годы XIX века имели особенное значение в жизни и творчестве Тургенева. В предшествовавшее отмене крепостного права десятилетие появились его лучшие романы и повести: «Рудин», «Фауст», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Он стал настоящим кумиром читающей публики. Тургенева первым из русских писателей стали регулярно читать за границей.

Всё это время он жил под неусыпным полицейским надзором. Ему не давали заграничного паспорта до 1856 года — охранное отделение надолго запомнило его некролог на смерть Гоголя.

Рассказы, которые вошли в сборник «Записки охотника», Тургенев писал в разных местах и в разное время. Спустя двадцать лет он решил пополнить уже известный сборник ещё тремя рассказами: «Конец Чертопханова», «Стучит» и «Живые мощи». Новое издание вышло в 1880 году, и в конечном счёте в нём оказалось 25 произведений. В таком составе «Записки охотника» и печатаются с тех пор.

«Сколько вы ни пишете ещё повестей и драм, — написано в письме И. А. Гончарова Тургеневу от 28 марта 1859 года, — вы не опередите вашей Илиады, ваших „Записок охотника“: там нет ошибок, там вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы вашей музыки».

БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках¹. До дому ещё было вёрст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колёс. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперёд с трудом. Дрожки прыгали по твёрдым корням столет-

¹ *Дрѳжки* — лёгкий экипаж.

них дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колёс; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принуждён был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза, — отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдёт, — продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошёл к голове лошади, взял её за узду и сдёрнул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлёпала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился: «Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидел небольшую избушку посреди обширного двора, обнесённого плетнём. Из одного окошечка тускло светил огонёк. Лесник довёл лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девоч-

ка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой¹, с фонарём в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину, — сказал он ей, — а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей² и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружьё, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина³ горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька⁴, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребёнок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна, — произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова, — прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошёл к столу и зажёл светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Чёрная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка упёрся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк⁵.

¹ *Покрёмка* (разг.) — продольный край ткани, узкая полоска ткани, используемая в качестве тесёмки, верёвки.

² *Полáти* — в крестьянской избе: настил из досок под потолком между печью и стеной.

³ *Лучина* — длинная щепка, использовавшаяся для освещения крестьянской избы.

⁴ *Люлька* — здесь: колыбель.

⁵ *Бирюком* называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. (Примеч. И. С. Тургенева.)

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало ещё на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силён, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идёт. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не даётся».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даёшь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла, — прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнёс он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребёнок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребёнка. Он подошёл к двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне ещё печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; её голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой, — проговорила она, ещё более понутив своё печальное личико.

Лесник вошёл и сел на лавку.

— Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчания, — коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружьё и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху¹ дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении ещё толпились тяжёлые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где тёмно-синее небо, звёздочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождём и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот, — проговорил он вдруг и протянул руку, — вишь какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй, — прибавил он вслух, — и прозеваю его». — «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно, — отвечал он и попятил лошадь назад, — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдёмте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, — бормотал он сквозь зубы, — слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновение — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.

— Повалил... — пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружьё кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ве-

¹ «Верхом» называется в Орловской губернии овраг. (Примеч. И. С. Тургенева.)

тра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колёса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, позаячы... Началась борьба. «Врё-ёшь, врё-ёшь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдёшь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошёл. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрёпанной бородой. Дрянная лошадёнка, до половины закрытая угловатой рогожкой¹, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку, — я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку² левой рукой: правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите», — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шёл позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошадёнку посреди двора, ввёл мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил, — заметил лесник, — переждать придётся. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика, — да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово, во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие жёлтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опёршись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

¹ *Рого́жа* — ткань редкого полотняного переплетения.

² *Хо́лка* — часть шеи, смежная с хребтом, у лошади, быка и т. п.

— Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, — а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник, — ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти, — твердил мужик, — приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подёргивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти, — повторил он с унылым отчаяньем, — отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты всё-таки воровать не ходи.

— Лошадёнку, — продолжал мужик, — лошадёнку-то, хоть её-то... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик всё не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на, — начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, — на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — С ума сошёл, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Всё едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — всё едино. Пропадай все: жена, дети — околевай все... А до тебя, погоди, доберёмся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома, — закричал я, — оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Всё едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдёрнул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к чёрту с своей лошастью, — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он, — знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колёса мужицкой телеги.

— Вишь, поплёлся! — пробормотал он, — да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

ПЕВЦЫ

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя её осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то

петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассечённого страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьётся, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих раки́т боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и жёлтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невесёлый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещённое изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным»¹. В этом кабаке вино продаётся, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник² Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдалёнными, словно без всякого намерения произнесёнными намёками наводит своих посе-

¹ *Притынным* называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое уютное место. (Примеч. И. С. Тургенева.)

² *Целова́льник* (устар.) — здесь: продавец вина в питейных домах, кабаках.

тителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всём, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожаном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своём веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто вёрст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проникательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свёл со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить всё то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, остроногая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всём на неё полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны её боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча ещё малы; первые все перемёрли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробы не горевали и, распуша пёрышки, ещё яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелёными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других

степных деревнях, мужики, за неимением ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовёт это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразмётанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запылённый выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, чёрный, словно раскалённый пруд, с каймой из полувysохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпением наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдёт, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряжённо-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползёшь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползёшь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нём была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие жёлтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдер-

жанная, напряжённая улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперёд, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения, — зачем ты меня зовёшь?.. Кто меня ждёт?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты ещё спрашиваешь, зачем. А ждут тебя все люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик¹ с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побилась: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споёт то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врёшь, Обалдуй?

— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдём, простота, — возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, — залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталявая его локтём, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил моё любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошёл в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из тёмных сеней и белой избы, разделённой надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продаётся вино. Запечатанные штофы² разной величины рядом стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей

¹ *Рядчик* — нанимающий рабочих, то есть подрядчик.

² *Штоф* — квадратная бутылка, предназначенная для крепкого напитка; до введения единой метрической системы — русская мера жидкости, равная $\frac{1}{8}$ или $\frac{1}{10}$ ведра.

частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошёл в Притынный кабачок, в нём уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пёстрой ситцевой рубаше, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена.

Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трёх, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щёки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — всё его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и чёрными блестящими волосами, жёсткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый чёрный шёлковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Бариним. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздёрнутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щёгольские сапоги с оторочкой. На нём был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубашки,

плотно застёгнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запylённые стёкла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая своё восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего ещё ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иванович.

— Начнём, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнёс Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который всё продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повёл плечами и умолк.

— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнёс Дикий-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иванович нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил её на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелёк, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряжённое ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провёл рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»!¹ — презрительно заметил Дикий-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волнение.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперёд. Яков впился в него глазами...

Но, прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю нелишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц

¹ Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются. (Примеч. И. С. Тургенева.)

моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнём с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всём околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счёт. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовнёй, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: всё «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок вёрст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач несколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на моё старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — тёмные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромым, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведением загладив своё преступление, понемногу вошёл к ней в милость, заслужил наконец её полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей

бакши¹, разбогател и живёт теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчётливый; это тёртый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гяделки»². Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — всё удалось, всё как по маслу пошло. Он счастлив и верит в своё счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Всё его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдёт далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нём вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжёлой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могу-

¹ *Бакиш* (перс.) — здесь: мзда, приношение, взятка.

² Орловцы называют глаза гяделками, так же как рот едалом. (*Примеч. И. С. Тургенева.*)

ществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего¹ в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека более молчаливого и упрямого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живёт; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вёл он себя не то что скромно, — в нём вообще не было ничего скромного, — но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всём округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда своё возьмёт. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы упрямо покоились в нём, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и всё, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нём смесь какой-то врождённой, природной свирепости и такого же врождённого благородства, — смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперёд, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были ино-

¹ *Подьячий* — низшая должность в государственных учреждениях.

гда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришёл бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia*, *ténor léger*¹. Пел он весёлую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распаху я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все вострепнулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай ещё! Накаливай ещё, собака ты этакая, пёс!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задёргал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремлённый на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободрённый знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделявать завитушки, так защёлкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомлённый, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и на

¹ *Tenore di grazia*, *ténor léger* (итал. и франц.) — лирический тенор, мужской певческий голос.

чал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, чёрт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможённо-го рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач, — дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан¹, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошёл к стойке. — На твой счёт, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крикая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поёшь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поёт рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха²! — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй³, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

¹ *Фóфан* (прост.) — простофиля, недалёкий, тупой человек.

² Полехами называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Волховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. (*Примеч. И. С. Тургенева.*)

³ Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га!» и «баде!». «Паняй» вместо погоняй. (*Примеч. И. С. Тургенева.*)

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнёс он, скрипнув зубами.

— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, лёгкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл своё лицо — оно было бледно, как у мёртвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принёсся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твёрдый и протяжный, но всё ещё видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым — третий, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти,

которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на неё быстрый взгляд и залился ещё звонче, ещё слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжёлая слеза; рядчик поднёс сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он ещё петь; но он раскрыл глаза, словно удивлённый нашим молчаньем, вопрошающим взором обвёл всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша, — проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошёл к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», — произнёс он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул вверх, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошёл к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя ещё осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, ко-

торого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своём уголку, утирая обоими рукавами глаза, щёки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся покрасневшая, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; всё его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты ещё нам споёшь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я ещё раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить своё впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землёй густым тяжёлым слоем; на тёмно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти чёрную пыль. Всё молчало; было что-то безнадёжное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лёг на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... Наконец жара и усталость взяли, однако же, своё, и я заснул мёртвым сном. Когда я проснулся, — всё уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звёздочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне её последний след; но в недавно раскалённом воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась везде теплота, и грудь всё ещё жаждала холодного дуновения. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом всё чистое и прозрачно-тёмное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звёздами. По деревне мелькали огоньки; из недалёкого, ярко освещённого кабака нёсся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошёл к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невесёлую, хотя пёструю и живую картину: всё было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнажённой грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом

топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздёргивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазах. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял своё неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась ещё необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принёсся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, чёрт леши-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, а мальчик снова принялся звать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали ещё до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырёх верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» — всё ещё чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.



Решаем читательские задачи

1. В «Записках охотника» случается немало драматических событий. Вспомните, в каких ситуациях закалялся человеческий характер и люди могли лучше узнавать себя.
2. Что в «Записках охотника» сближает, а что разделяет людей?
3. Каких персонажей вы могли бы назвать воплощением русского национального характера и почему?
4. Каким вы представляете себе охотника, от лица которого ведётся повествование? Как он относится к своим собеседникам-мужикам?
5. Вспомните историю создания «Записок охотника». Сколько рассказов входит в этот цикл и когда они были опубликованы? Выпишите в столбик названия всех рассказов. Что между ними общего? Можно ли сказать о сквозном сюжете этого цикла?
6. Почему Бирюк отпускает пойманного мужика: он пожалел его и посочувствовал его бедности или же Бирюку попросту безразлична хозяйская собственность?
7. Прочитайте «Записки охотника» целиком. Какие рассказы из них можно отнести к лирическим, а какие — к драматическим?
8. Каким термином называется сборник рассказов, объединённых общим героем?
9. Как связаны описание природы и внутреннего состояния героев в «Записках охотника»?

Повести И. С. Тургенева

Повести — один из любимых тургеневских жанров. Они позволяли ему показать главные характеры выпукло, в большем количестве эпизодов и случаев, чем это позволял жанр рассказа. В них отчётливо видны важнейшие приметы тургеневского стиля: выразительность языка, пейзажей, пластичность образов.

Иногда Тургеневым овладевала хандра. В такие минуты он жаловался на жизнь своим друзьям и грозился, что бросит писать. «Всё это вздор, — писал он, например, в 1857 году В. П. Боткину, — таланта с особенною физиономиею и целостностью у меня нет; были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется. В отставку! Это не вспышка досады, поверь мне, это выражение или плод медленно созревшего убеждения. Неудача моих повестей ни-

чего не сказал нового... Так как я порядочно владею российским языком, то я намерен заняться переводом „Дон Кихота“ — если буду здоров». Как всегда, спасение нашлось в творчестве. В том же году Тургенев написал одну из самых поэтичных своих повестей — «Асю». Сам Тургенев уверял друзей, что «Ася» «блистательно и с треском провалилась», на самом деле повесть стала ещё большим событием в русской литературе, в немалой степени и потому, что явилась поводом для написания Н. Г. Чернышевским знаменитой критической статьи «Русский человек на rendez-vous¹».

Прочитайте повесть, а потом мы поговорим о ней и о статье Н. Г. Чернышевского.

АСЯ

(В сокращении)

I

— Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н. Н., — дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить моё воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы ещё не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золочёные да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придёт время — и хлеба не напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошёл в дрезденском «Грюне Гевелбе». Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых её красот, необыкновенных гор, утёсов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, чело-

¹ *Rendez-vous* (франц.) — буквально: приходите, явитесь.

веческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством.

<...>

II

— Ася, довольно тебе? — вдруг произнёс за мною мужской голос по-русски.

— Подождём ещё, — отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть её лица.

— Вы русские? — сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

— Да, русские.

— Я никак не ожидал... в таком захолустье, — начал было я.

— И мы не ожидали, — перебил он меня, — что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... — он запнулся на мгновение, — моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились.

<...>

...Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показала мне очень миловидной. Было что-то своё, особенное, в складе её смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щёчками и чёрными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне ещё развита. Она несколько не походила на своего брата.

— Хотите вы зайти к нам? — сказал мне Гагин, — кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стёкла разбились и поло-

мали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

<...>

Ася (собственно имя её было Анна, но Гагин называл её Асей, и уж вы позвольте мне её так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоём несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; её чёрные волосы, остриженные и причёсанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ёжиться! он не кусается.

Она улынулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибежала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Её большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки её слегка щурились, и тогда взор её внезапно становился глубок и нежен.

<...>

Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришёл в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чём не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? — спросил я самого себя. — Разве я не влюблён?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

<...>

IV

<...> Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам.

Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по гряде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрёкнул её в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шёпотом Гагин, — не дразните её; вы её не знаете: она, пожалуй, ещё на башню взберётся. А вот вы лучше подивитесь смыслённости здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжёлых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик её отчётливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на неё. Уже накануне заметил я в ней что-то напряжённое, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу пить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Её движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на неё, хотя я невольно любовался её лёгкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало ещё досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подёргивала её брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились тёмные глаза.

«Вы находите моё поведение неприличным, — казалось, говорило её лицо, — всё равно: я знаю, вы мной любуетесь».

— Искусно, Ася, искусно, — промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно под села к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел её лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже всё побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты её мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался.

Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил ещё кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

— За здоровье дамы вашего сердца!

— А разве у него, — разве у вас есть такая дама? — спросила вдруг Ася.

— Да у кого же её нет? — возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновенье; её лицо опять изменилось, опять появилась на нём вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила её к себе на плечо, как ружьё, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее своё платье, тщательно причёсанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль — роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всём. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребёнок; будьте снисходительны».

<...>

Гагин переменял разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нём ключом; она

светилась тихим светом. Он был очень мил и умён, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает.

<...>

Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» — произнёс я громко.

Я разделся, лёг и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...». «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине¹, — шептал я, — да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошёл в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! — оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, — Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно поглядывала на свою работу, и черты её приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на её желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдёт сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

— Напротив, — возразил он, — вы мне можете хороший совет дать.

¹ *Галатея в Фарнезине* — у великого итальянского художника Рафаэля был богатый покровитель — банкир Агостино Киджи. Его виллу, которая сейчас называется вилла Фарнезина, художник расписал фресками «Триумф Галатеи» и «Легенда об Амуре и Психее».

Он надел круглую шляпу à la Van Dyck¹, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплёлся вслед за ним. Ася осталась дома.

<...>

— А-га! — говорил Гагин, — пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чём: этот день прошёл в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

— Что за хамелеон эта девушка! — и, подумав немного, прибавил: — А всё-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорчённой или смущённой; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех её движениях было что-то беспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино ещё бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об её жизни в России, об её прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал её раз за книгой, одну. Опёршись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

— Bravo! — сказал я, подойдя к ней, — как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

¹ *Ван Дейк* (1599–1641) — знаменитый фламандский художник (живописец и график), мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко.

— Вы думаете, я только смеяться умею, — промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

— Однако я ваш выбор похвалить не могу, — заметил я.

— Что же читать! — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: — Так лучше пойду дурачиться, — и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею»¹. Ася сперва всё только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько под села ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал её, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на неё. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принуждённо.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашёл калитку запертою. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через неё. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошёл было мимо... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слёзы произносившей следующие слова:

— Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплёт ветвей. Они меня не заметили.

— Тебя, тебя одного, — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по её волосам.

¹ «Герман и Доротея» — поэма И. Гёте, в которой заметны идиллические мотивы. *Иди́ллия* (от греч. — картинка) — здесь: идеализированное изображение быта простых людей на лоне сельской природы.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через неё на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, — думал я, — умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых¹ слоёв; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчёта в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видаться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников?

<...>

Дома я нашёл записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочёл эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

<...>

— Скажите, — начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

— Да, — ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

¹ *Базальт* — горная порода вулканического происхождения.

— Её надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, — промолвил он, — у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, её нельзя винить, и если б вы знали её историю...

— Её историю?.. — перебил я, — разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

— Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, — продолжал он, не обращая внимания на моё замешательство, — она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам всё.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара её не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после неё шести месяцев. Отец увёз меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше тёмное и невесёлое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешёл в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего всё более и более грустным, в себя углублённым, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти — Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление — он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на неё; она была дика, проворна и молчалива, как зверёк, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днём зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское

кресло¹ его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался ещё молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привёл её: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

— Вот, — сказал мне с усилием отец, — завещаю тебе мою дочь — твою сестру. Ты всё узнаешь от Якова, — прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню её высокую стройную фигуру, её благообразное, строгое, умное лицо с большими тёмными глазами.

<...> Когда дядя увёз меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь её при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда её взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шёлковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала её очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был её учителем; кроме его она никого не видала. Он не баловал её, то есть не нянчился с нею; но он любил её страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в

¹ *Вольтёровское кресло* — большое глубокое кресло с высокой спинкой.

доме, она знала, что барин её отец; но она так же скоро поняла своё ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть её происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в её годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы её направила. Полная независимость во всём! да разве легко её вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, её била лихорадка, ласки мои повергали её в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю её за сестру и полюбил её, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привёз её в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, — жить с ней вместе я никак не мог; я поместил её в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на неё. «И наказывать её нельзя, — говаривала она мне, — и на ласку она не поддаётся». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрячилась, глядела букой... Я не мог слишком винить её: в её положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили её, язвили её и кололи как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой;

только манеры её стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано — сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить её слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей всё нипочём, — мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

— Всё так, — заговорил опять Гагин, — но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

— Так вот что... — промолвил было я и прикусил язык.

— А скажите-ка мне, — спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, — неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

— Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая.

— Послушайте, — начал я, — пойдёмте к вам, мне домой не хочется.

— А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость на сердце; точно мне втихомолку мёду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

— Вот он опять, — заговорил Гагин, — и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал её холодные пальчики. Мне стало очень жаль её; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: её внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться — всё мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнёт давил её постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но всё существо её стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему её тонкому телу, привлекала она меня: её душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с весёлой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

— Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилуйте...

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся, — промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

— О, я умею отгадывать! — продолжала она, — бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своём отце. Меня это поразило.

— Вы любили вашего батюшку? — проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

— Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася.

— Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? — спросил я.

— Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это её скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть чёрный кот с жёлтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

— Ах, мне хорошо, — проговорила она.

В это мгновение долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями.

— Вот бы пойти с ними, — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

— Разве вы так набожны?

— Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, — продолжала она. — А то дни уходят, жизнь уйдёт, а что мы сделали?

— Вы честолюбивы, — заметил я, — вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

— А разве это невозможно?

«Невозможно», — чуть было не повторил я... Но я взглянул в её светлые глаза и только промолвил:

— Попробуйте.

— Скажите, — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, — вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил её здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

— Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

— А что вам нравится в женщинах? — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

— Какой странный вопрос! — воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

— Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать всё, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

— Говорите ради бога, не бойтесь, — подхватил я, — я так рад, что вы, наконец, перестаёте дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и лёгким смехом; я не знал за ней такого смеха.

<...> Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера¹. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь её девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение её нежного стана, долго слышалось мне её ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне тёмные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживлённом лице, резво обвеянном кудрями.

Х

Весь этот день прошёл как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на неё. Я ушёл поздно. <...> Слёзы закипали у меня на глазах, но то не были слёзы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, ещё недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она всё понимает и всё любит... Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я ещё не смел назвать его по имени, — но счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чём томился... А лодка всё неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над вёслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблён ли я в Асю, но я много размышлял о ней, её судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал её; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною,

¹ *Ланнер* (Lanner) *Йозеф Франц Карл* (1801–1843) — австрийский композитор, дирижёр и скрипач, прославился своими вальсами; ведущий «танцевальный дирижёр» Вены.

каким пленительным светом озарился её образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нём сквозили...

<...>

XII

<...>

— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живостью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеётесь?» — И, помолчав немного, она прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли — да лететь некуда.

— Помилуйте, — промолвил я, — перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

— Вы сегодня дурного мнения обо мне, — сказала она, нахмутив брови.

— Я? дурного мнения? о вас!..

— Что это вы точно в воду опущенные, — перебил меня Гагин, — хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

— Нет, нет, — возразила Ася и стиснула руки, — сегодня ни за что!

— Я тебя не принуждаю, успокойся...

— Ни за что, — повторила она, бледнея.

«Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему тёмные волны.

XIII

«Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что её образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошёл в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдёт, это ничего, всё пройдёт, не правда ли?» — и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав её более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу — не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

— Вы ли г-н Н.? — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. — Это вам от фрейлейн Annette, — прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул её — и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она, — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради бога, вы всё узнаете... Скажите посланному: да».

— Будет ответ? — спросил меня мальчик.

— Скажи, что да, — отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришёл к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечёл я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати ещё не было.

Дверь отворилась — вошёл Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал её. Он казался очень взволнованным.

— Что с вами? — спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

— Четвёртого дня, — начал он с принуждённой улыбкой и запинаясь, — я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю ещё более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

— Ваша сестра, говорите вы...

— Да, да, — перебил меня Гагин. — Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведёт. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

— Да вы ошибаетесь, — начал я.

— Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашёл её нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали.

«Что с тобой? — спросил я, — ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти её как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь её успокоить... Рыдания её усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благо-разумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувству-ет и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на неё так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, — продолжал Гагин, — но почему она вас так по-любила — этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привяза-лась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверя-ла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы её презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам её историю, — я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость её — просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тот-час. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, — и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и ре-шился — поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее — уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увёз её, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? — вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу её? Я вот и решил-ся, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заме-тил... Я решил... узнать от вас... — Бедный Гагин смутился. — Извини-те меня, пожалуйста, — прибавил он, — я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

— Вы хотите знать, — произнёс я твёрдым голосом, — нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

— Но, — проговорил он запинаясь, — ведь вы не женитесь на ней?

— Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

— Знаю, знаю, — перебил меня Гагин. — Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой — верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнём шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в со-стоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы всё скрыть и выждать — но не она. С нею это в первый раз, — вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы по-няли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

— Да, — сказал я наконец, — вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал её и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

— Вы, повторяю, благородный человек, — проговорил он, — но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чём мы остановились наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подавать вида, что ему известна её записка; а вечером мы положили сойтись опять.

— Я твёрдо надеюсь на вас, — сказал Гагин и стиснул мне руку, — пощадите и её и меня. А уезжаем мы всё-таки завтра, — прибавил он, вставая, — потому что ведь вы на Асе не женитесь.

— Дайте мне сроку до вечера, — возразил я.

— Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушёл, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в неё нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, её любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило её всё высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с её нравом, как это можно!» — сказал я, вставая.

<...>

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошёл, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко её. Я подошёл к ней. Она ещё больше отвернула голову...

— Анна Николаевна, — сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил её руку, она была холодна и лежала, как мёртвая, на моей ладони.

— Я желала... — начала Ася, стараясь улыбнуться, но её бледные губы не слушались её, — я хотела... Нет, не могу, — проговорила она и умолкла. Действительно, голос её прерывался на каждом слове.

Я сел подле неё.

— Анна Николаевна, — повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать её руку и глядел на неё. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накопившие слёзы... Я глядел на неё; было что-то трогательно-беспомощное в её робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

— Ася, — сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к её руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожащей руки. Я поднял голову и увидел её лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушёл куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл всё, я потянул её к себе — покорно повиновалась её рука, всё её тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова её тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

— Ваша... — прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг её стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

— Что мы делаем!.. — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. — Ваш брат... ведь он всё знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустила на стул.

— Да, — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. — Ваш брат всё знает... Я должен был ему всё сказать.

— Должны? — проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла ещё прийти в себя и плохо меня понимала.

— Да, да, — повторил я с каким-то ожесточением, — и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас всё высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. — Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. — Теперь всё пропало, всё, всё.

Ася поднялась было со стула.

— Останьтесь, — воскликнул я, — останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришёл сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» — думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что всё искажено, обнаружено, — так и звенела у меня в голове.

— Я не звала брата, — слышался испуганный шёпот Аси, — он пришёл сам.

— Посмотрите же, что вы наделали, — продолжал я. — Теперь вы хотите уехать...

— Да, я должна уехать, — так же тихо проговорила она, — я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

— И вы думаете, — возразил я, — мне будет легко с вами расстаться?

— Но зачем же вы сказали брату? — с недоумением повторила Ася.

— Я вам говорю — я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

— Я заперлась в моей комнате, — возразила она простодушно, — я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в её устах, в такую минуту — меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

— И вот теперь всё кончено! — начал я снова. — Всё. Теперь нам должно расстаться. — Я украдкой взглянул на Асю... лицо её быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. — Вы не дали развиваться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася всё больше и больше наклонялась вперёд — и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал

к ней, пытался поднять её, но она мне не давалась. Я не выношу женских слёз: при виде их я теряюсь тотчас.

— Анна Николаевна, Ася, — твердил я, — пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте... — Я снова взял её за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила — с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

<...>

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал её! Наедине с ней в той глухой, едва освещённой комнате у меня достало силы, достало духа — оттолкнуть её от себя, даже упрекать её... А теперь её образ меня преследовал, я просил у неё прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклонённой шее, о лёгком прикосновении её головы к моей груди — жгли меня. «Ваша...» — слышался мне её шёпот. «Я поступил по совести», — уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться её? «Безумец! безумец!» — повторял я с озлоблением...

<...>

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошёл к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещённое окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

— Нашли? — спросил я его.

— Она вернулась, — отвечал он мне шёпотом, — она в своей комнате и раздевается. Всё в порядке.

— Слава богу! — воскликнул я с несказанным порывом радости, — слава богу! Теперь всё прекрасно. Но вы знаете, мы должны ещё переговорить.

— В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму, — в другое время, а теперь прощайте.

— До завтра, — промолвил я, — завтра всё будет решено.

— Прощайте, — повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, — подумал я, — завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение.

Я не помню, как дошёл я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошёл мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и моё счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нём были растворены и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

— Уехали! — брякнула она, прежде чем я успел спросить её: дома ли Гагин?

— Уехали?.. — повторил я. — Как уехали? Куда?

— Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, г-н Н.?

— Я г-н Н.

— К вам есть письмо у хозяйки. — Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. — Вот-с, извольте.

— Да не может быть... Как же это так?.. — начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, — писал он, — пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне всё сказала; для её спокойствия я должен был уступить её повторенным, усиленным прось-

бам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? — вскричал я, как будто он мог меня слышать, — что за вздор! Кто дал право похитить её у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: её испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошёл домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошёл было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошёл в её дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

— По-настоящему, — начала старуха, показывая мне маленькую записку, — я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю её... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне ещё не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с её братом в бессмысленном и тягост-

ном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать её... но уже тогда было поздно. <...>

XXII

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более — я не увидел Аси. Тёмные слухи доходили до меня о нём, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал её в лучшую пору моей жизни, какую я её видел в последний раз, наклонённой на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашёл, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и ещё лучше, ещё прекраснее?.. Я знал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремлённых на меня глаз, ни на чьё сердце, припавшее к моей груди, не отвечало моё сердце таким радостным и сладким замиранием! Осуждённый на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издаёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам — что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так лёгкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека.

1857



Решаем читательские задачи

Н. Г. Чернышевский писал в статье «Русский человек на rendez-vous: Размышления по прочтении повести г. Тургенева „Ася“»: «Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку ещё тогда, когда не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет всё и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин её. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все».

1. Согласны ли вы с мнением писателя и критика? Что вы думаете об этом? Подтвердите своё мнение отрывками из повести.
2. Какие взаимоотношения сложились у Аси с братом?
3. Играет ли Гагин важную роль в событиях повести?
4. Гагин — художник-любитель. Какое значение для событий повести имеет это его увлечение?
5. Чем заинтересовала рассказчика Ася?
6. Рассказчик несколько раз задумывается о женитьбе на Асе. Какие решения он принимает? Чем объясняет эти решения?
7. Какие случайности повлияли на судьбы героев повести?
8. Кого из уже известных вам женских персонажей русской литературы напоминает Ася?



Обсудим вместе

Каких личностных качеств недостаёт рассказчику, по мнению Н. Г. Чернышевского?



Возьмите на заметку!

Николай Гаврилович Чернышевский, о котором мы подробно поговорим в 10 классе, был подлинным властителем дум демократической молодёжи конца 50–60-х годов XIX века. Обладая колоссальной работоспособностью, он писал часами, и писал хлёстко, ярко, без преклонения перед авторитетами. Конечно, с аристократом Тургеневым они недолго считались единомышленниками. Прошло несколько лет, и они расстались. Статья, которую мы цитировали, — одно из первых разногласий в отношениях между ними. Хотя Чернышевский и заявляет в начале статьи, что «Ася» — «едва ли не единственная хорошая новая повесть», он не принимает авторской симпатии к нерешительному рассказчику.

«Но точно ли ошибся автор в своём герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. <...> Неудивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как „поведением“, нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; ещё натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“; почти то же и в „Рудине“. <...>

Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев — особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц?»

Мы видим, насколько иронично критик относится к нерешительности тургеневских героев. Он привык ценить в людях волю, упорство в достижении цели, сочетание искренности и настойчивости. Обратим внимание и на то, что он не замечает изумительной поэтичности тургеневской повести, описаний людей и природы.



Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Мы продолжаем знакомиться с творчеством великого русского писателя А. П. Чехова. Антон Павлович Чехов, по его собственным словам, проложил рассказу дорогу к читателю. До него главным жанром повествовательной литературы был, конечно, роман. Чехову удалось сделать рассказ равноправным жанром.

А. П. Чехов написал около 500 рассказов. Одно из главных его открытий — создание рассказов, как бы «вырезанных» из жизни. Известный чеховед А. П. Чудаков так описывал чеховское новаторство: «...до Чехова рассказы можно было уподобить геометрическому отрезку: были и начальная, и конечная точки. Чехов же создал рассказ, в котором жизнь уже была до начала событий и будет продолжаться после». Нам нужно повторить два таких важных литературоведческих понятия, как кульминация и развязка. Обычно развязка следует за кульминацией. На этом заканчивается сюжет, словно «закрывается» композиция произведения. Прочитаем два замечательных рассказа А. П. Чехова и попробуем разобраться в творческой лаборатории писателя. Читайте внимательно: не всем, далеко не всем критикам удалось в этом разобраться при жизни писателя. Значит, это было подлинное новаторство! Ведь если критики (не литературоведы, а именно критики!) «не понимают» произведения, значит, оно заметно отличается от привычных канонов. Только со временем становится ясно, чем было обусловлено это неприятие: просчётом писателя или талантливим новаторством. Увы, последнее встречается намного реже...

А вот что писали критики о Чехове: Чехов — «бесчеловечный писатель», «без чести и совести», и «ему всё едино, что человек, что тень, что колокольчик, что самоубийца», «всё равно... человека ли

убили, шампанское ли пьют», у него «нет никаких идеалов», у него «культ нравственного безразличия», так что нравственная оценка у него «окончательно атрофировалась и превратилась в аморальность».

Давайте разберёмся, как же у него «окончательно атрофировалась» нравственная оценка. Конечно, Чехов старается не выходить явно на передний план. Он пользуется иными средствами воздействия на читателя, более скрытыми и более тонкими. Находившийся в расцвете сил и славы М. Горький писал ему в январе 1900 г.: «Дальше Вас — никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа — всё кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И — главное — всё кажется не простым, т. е. не правдивым».

Умение читать Чехова приходит не сразу. Поэтому мы вновь обращаемся к его рассказам. В диалоге с писателем мы постараемся выявить его нравственные оценки и выявить те художественные средства, которыми они введены в рассказ.

Рассказ «Дом с мезонином» впервые напечатан в журнале «Русская мысль» (1896, № 4). Читая его, обратите внимание на художественное пространство. В первой части, несмотря на то что главный герой художник-пейзажист, почти нет красок. Это бесцветное и скучное пространство. Всё оживает, когда он знакомится с обитательницами дома с мезонином. И тут завязка конфликта: полюбившаяся ему девушка Мисюсь живёт в этом доме, но полновластная хозяйка дома — категоричная и не терпящая возражений старшая сестра Лида. Она говорит правильные вещи, готова жертвовать собой ради общественного блага. Лида не сомневается, что бедные люди нуждаются в заботе и внимании, хотела бы дать им образование, организовать для них медицинскую помощь. Но как относится к ней автор? Никаких «нравственных оценок» он не даёт. Но только все радостные встречи двух влюблённых происходят вне дома с мезонином. Внутри него — словно мёртвая зона, обозначенная категорично высказанными правильными словами.

Прочитайте и постарайтесь объяснить, какие авторские оценки утверждаются с помощью такой организации художественного пространства рассказа.

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

I

Это было 6–7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддёвке¹, по вечерам пил пиво и всё жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да ещё стола, на котором я раскладывал пасьянс². Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах³, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал всё, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошёл по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок⁴ покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально

¹ *Поддёвка* — верхняя мужская одежда — приталенное пальто с мелкими сборками.

² *Пасьянс* — особая раскладка игральных карт по определённым правилам для развлечения или гадания.

³ *Амосовские печи* — знаменитая система пневматического огневоздушного печного отопления, изобретённая в 1835 г. генералом Н. А. Амосовым (1787–1868). Она быстро распространилась сначала в России, а затем и в Европе, где её называют «русская система отопления».

⁴ *Вершок* — старая русская мера длины, равная 4,44 см.

шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошёл мимо белого дома с террасой и с мезонином¹, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зелёных ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая — ей было 17–18 лет, не больше — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска², в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьёзно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Пётр Петрович, — сказала она Белокурову, подавая ему руку. — Приезжайте, и если *monsieur N.* (она назвала мою

¹ *Мезонин* (от итал. — *полуэтаж*) — верхний неполный этаж или надстройка над серединой дома.

² *Рессорная коляска* — изящный четырёхколёсный экипаж. *Рессора* (франц. — «пружина») — упругий элемент подвески транспортного средства, благодаря которому смягчаются удары и толчки при прохождении по неровностям дороги.

фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Пётр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи и звали её Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец её когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живёт на собственный счёт.

— Интересная семья, — сказал Белокуров. — Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как её звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьёзная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Не хорошо, Пётр Петрович, — говорила она укоризненно. — Не хорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда, — соглашалась мать. — Не хорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. — Сам он председатель управы¹, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодёжь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодёжь. Стыдно, Пётр Петрович!

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьёзных разговорах, её в семье ещё не считали

¹ *Председатель управы* — глава исполнительного органа земского собрания. Земская реформа была проведена в 1864 г.

взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс¹, свою гувернантку. Всё время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крёстный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел её слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет² и lawn-tennis³, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий⁴ и прислуге говорили вы, и всё мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и всё дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убеждённая девушка, и слушать её было интересно, хотя говорила она много и громко — быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Пётр Петрович, у которого ещё со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, — сказал Белокуров и вздохнул. — Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А всё дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжёлый и ленивый малый! Он когда говорил о чём-нибудь серьёзно, то с на-

¹ *Мисс* — в России так называли гувернанток-англичанок.

² *Крокёт* — спортивная игра, участники которой проводят шары в воротца, расставленные на площадке в определённом порядке, специальными деревянными молотками на длинной ручке.

³ *Lawn-tennis* (англ.) — первоначальное, ныне устаревшее название большого тенниса.

⁴ *Олеография* (от *лат.* — масло и *греч.* — пишу, рисую) — способ воспроизведения написанных маслом картин, применявшийся в XIX в.

пряжением тянул «э-э-э-э», и работал так же, как говорил, — медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я всё думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжёлым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днём Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас неинтересно.

Я был ей не симпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка бурятка, в рубахе и в штанах из синей дабы¹, верхом на лошади; я спросил у неё, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на моё европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит, обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А её сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бра-

¹ *Дабá* — китайская хлопчатобумажная ткань.

лась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки её едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд её иногда становился усталым, ошеломлённым и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло её мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось, например о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в тёмно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала вёслами, сквозь широкие рукава просвечивали её тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришёл к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул тёплый ветер. Я видел, как Женя и её мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зелёный сад, ещё влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, всё лето.

Пришла Женя с корзиной; у неё было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдёт меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чём-нибудь, то заходила вперёд, чтобы видеть моё лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо, — сказала она. — Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

— Это не важно, — сказал я. — Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что непонятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звёзд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышшь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввёл её в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по её мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допуская, что я и моё воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «да, люди бессмертны», «да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я её горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для неё жизнью. Но скажите, — Женя дотронулась до моего рукава пальцем, — скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она неправа.

Женя отрицательно покачала головой, и слёзы показались у неё на глазах.

— Как это непонятно! — проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещённая солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трёх больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин; её долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лёжа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Всё небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О, мама, — сказала Женя, целуя у неё руку, — тебе вредно спать днём.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьёзном; она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который всё сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек, — говорила часто мать. — Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек, — сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днём с огнём поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — всё это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвёртый год, пора о себе серьёзно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдёт... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою причёской, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, всё зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришёл Белокуров в поддёвке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lawn-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что всё кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без неё мне как будто скучно и что

вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за всё лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живёте так скучно, так не колоритно? — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. — Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издёрган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в своё дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, — отчего вы живёте так неинтересно, так мало берёте от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину, — ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала её то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у неё позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюблённый. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлечённого так же, как она, больницами и школами, — сказал я. — О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни вёрст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдёт.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме, — сказал я раздражённо, — а в том, что у девяносто девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счёт, обиделся и ушёл.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. — Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. — И, обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами. — Вам не угодно знать моё мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Моё раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счёт.

— Я имею на этот счёт очень определённое убеждение, уверяю вас, — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. — По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам моё убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потёмок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, на-

чинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, ещё больше поработаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда, — сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на неё, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. — Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по её тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, — сказал я. — Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном поиске истины и смысла жизни. Сделайте же для

них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознаёт своё истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида. — Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трёх часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте ещё, что мы, чтобы ещё менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожали Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, — сколько свободного времени у нас остаётся в конце концов! Все мы сообща отдаём этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите, — сказала Лида. — Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, — такая грамотность держится у нас со времён Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает¹, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

¹ *Гоголевский Петрушка давно уже читает...* — речь идёт о персонаже из поэмы Н. В. Гоголя, слуге Чичикова, которому «нравилось не то, о чём читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чорт знает что и значит» («Мёртвые души», т. 1, гл. 2).

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, — и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, — продолжал я возбуждённо. — Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, — они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристёгивают к нуждам и злбам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У учёных, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днём, потребности тела множатся, между тем до правды ещё далеко, и человек по-прежнему остаётся самым хищным и самым нечистоплотным животным, и всё клонится к тому, чтобы человечество в своём большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать своё равнодушие, — сказала Лида. — Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда, — согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать, — продолжала Лида. — Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споёмся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. — И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: — Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у неё горело, и, чтобы скрыть своё волнение, она низко, точно

близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Моё присутствие было неприятно. Я простился и пошёл домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звёзд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят, — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте её лицо, и увидел устремлённые на меня тёмные, печальные глаза. — И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь, — грустная, потому что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам её тёмные озимые поля. Часто падали звёзды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звёзд, которые почему-то пугали её.

— Мне кажется, вы правы, — сказала она, дрожа от ночной сырости. — Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет — человечество выродится, и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи, — проговорила она, дрожа; плечи её были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. — Приходите завтра.

Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздражённый, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звёзды.

— Побудьте со мной ещё минуту, — сказал я. — Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил её за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были её бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, её слабость, праздность, её книги. А ум? Я подозревал у неё недюжинный ум, меня восхищала широта её воззрений, быть мо-

жет, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил её сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для неё, и я мечтал о ней как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарёю, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадёжно одиноким и ненужным.

— Останьтесь ещё минуту, — попросил я. — Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл её озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял её и стал осыпать поцелуями её лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. — Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать всё маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплёлся назад, чтобы ещё взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё. Я прошёл мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зелёный — это лампы накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живёт Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и всё ждал, не выйдет ли Женья, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зелёный огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчётливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге своё пальто и не спеша побрёл домой.

Когда на другой день после обеда я пришёл к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесётся её голос из комнат; потом я прошёл в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошёл длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог... — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. — Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там? — окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тётке, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу... — добавила она, помолчав. — Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю и, ни о чём не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушёл из усадьбы тою же дорогой, какой пришёл сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала всё сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, — прочёл я. — Я была бы не в силах огорчить её своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом тёмная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

.....

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едуци в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддёвке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение своё он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых

сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатали» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зелёный огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюблённый, возвращался домой и потирал руки от холода. А ещё реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?



Решаем читательские задачи

1. Почему расстались художник и Мисюсь?
2. Как относится автор к Лиде? Примерами из текста подтвердите ваше мнение.
3. Как складывались взаимоотношения Лиды с сестрой и матерью? Как относятся к Лиде родные? Какие детали помогают ответить на эти вопросы?
4. Какую композиционную роль играет история совместной жизни Белокурова и Любови Ивановны? Чем она заканчивается и почему? Как относится к их взаимоотношениям автор?
5. Как относится автор к главному герою — художнику-пейзажисту? Осуждает ли он его за неумение отстоять свою любовь?
6. Сравните рассказчика в «Доме с мезонином» с рассказчиком в «Асе». Что между ними общего и в чём их различие? Кто из них представляется вам более интересной и зрелой личностью? Оба героя не смогли устроить свою жизнь с девушками, которых полюбили. Можно ли считать их жертвами обстоятельств или в случившемся виноваты они сами?



Обсудим вместе

1. В чём суть споров Лиды с художником? На чьей вы стороне и почему?

2. Герои какого литературного направления должны были выбирать между долгом и чувством? Можно ли отнести рассказ «Дом с мезонином» к этому литературному направлению и почему?

Перед вами один из самых известных рассказов А. П. Чехова «Попрыгунья». Его героиня Ольга Ивановна не разглядела в своём муже интересного и достойного человека. Скромность — неброское качество. Женщина, не привыкшая себе отказывать в удовольствиях, не всегда способна оценить скромного, трудолюбивого человека. Незлобивость и доброта Дымова, его способность к самопожертвованию были для неё качествами очевидными, правилами игры, которые никто не способен изменить. Так началась их совместная жизнь и так, полагала она, будет всегда. Жизнь, даже семейная, для неё всегда была поиском знаменитостей, неординарных личностей. Талантливого врача — собственного мужа — она попросту не заметила. Но почему автор ставит в центр рассказа именно её, «попрыгунью», женщину без талантов и даже способностей? Чем она его заинтересовала? Обратите внимание на то, как автор по ходу рассказа даёт ей шанс стать лучше, отречься от своих недостатков, подняться до моральной высоты её мужа. А что же она? Прочитайте произведение, обращая внимание на то, как выражается авторское отношение к героям.

ПОПРЫГУНЬЯ

Рассказ

(В сокращении)

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все её друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нём что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Её муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника¹. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ор-

¹ *Титулярный советник* — в Табели о рангах: чин IX класса, равный чину штабс-капитана в армии.

динатором¹, а в другой — прозектором². Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и всё. Что ещё можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и её друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был ещё знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из неё вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист³, анималист⁴ и пейзажист⁵ Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне её этюды⁶ и говорил, что из неё, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Ещё кто? Ну, ещё Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор⁷ и виньетист⁸, сильно чувствовавший старый русский стиль, былин и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопчённых

¹ *Сверхштáтный ордина́тор* — врач, находящийся вне штата больницы и лечащий больных только под чьим-либо руководством. Платили такому врачу меньше, чем врачу, работавшему в штате больницы.

² *Прозе́ктор* (спец.) — врач-патологоанатом.

³ *Жанри́ст* — художник, изображающий «жанровые», т. е. бытовые, сценки.

⁴ *Анимали́ст* — художник, изображающий на своих картинах животных.

⁵ *Пейзажи́ст* — художник, изображающий различные пейзажи.

⁶ *Этюд* — в живописи работа над картиной обычно начинается с этюда — предварительного наброска. Этюд может быть посвящён не всему произведению, а только его части, какому-то персонажу картины.

⁷ *Дилета́нт* — человек, занимающийся наукой или искусством без специальной профессиональной подготовки, без глубоких знаний; любитель, неспециалист.

⁸ *Виньети́ст* — художник-оформитель книг, рисующий в них виньетки — украшения (рисунок или орнамент) в начале или конце текста.

тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, — среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нём чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола¹.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишнёвое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг — бац! — сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нём есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернётся, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

¹ Зола́ (устар.) — выдающийся французский писатель Эмиль Золя (1840–1902).

II

Ольге Ивановне было 22 года, Дымову 31. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены тёмным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой¹. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у неё и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и её портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шёлка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчёт билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде её встречали весело и дружелюбно и уверяли её, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали её, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при её талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но всё это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — всё у неё выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чём её талантлив-

¹ *Алебарда* — старинное холодное оружие: фигурный топорик на длинном древке.

вость не сказывалась так ярко, как в её уменье быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для неё сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили её в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала её поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю их, — говорил он кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого своё. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать — не значит отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у неё бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актёр из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обо-

дилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!» — разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашённую знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйста, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метрдотель! — говорила Ольга Ивановна, всплёскивая руками от восторга. — Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нём и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей¹, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые чёрные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина². И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везёт, мама! — сказал он однажды за обедом. — Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

¹ *Рóжа* (рóжистое воспаление) — острое инфекционное заболевание.

² *Бедуи́н* — кочевник-араб, обычно живущий в пустыне.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения¹ и по ночам молилась богу, но всё обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещающая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как неперемный член сосьете², будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжёван, и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.

III

На второй день Троицы³ после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он всё время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой свёрток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбца.

Когда он отыскал свою дачу и узнал её, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, оне

¹ *Трупное заражение* — отравление организма так называемым трупным ядом (продуктом гниения, или распада животных тканей), т. е. токсичным веществом. Случалось у патологоанатомов при неосторожном вскрытии трупа.

² *Сосьетё* — общество (*франц.* société).

³ *Троица* — один из двенадцатых православных праздников, отмечается на 50-й день от Пасхи.

скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трёх каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому — актёр. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно? — спросил актёр басом, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придёт.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошёл весёлый, краснощёкий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. — Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. — Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то всё случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нём участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты... понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зелёном фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чём я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. — У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни пла-

тья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе моё розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там всё тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, их потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказал Дымов. — Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. — Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным¹. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать, — сказала Ольга Ивановна, и слёзы навернулись у неё на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошёл на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актёр.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что чёрные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольётся с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрёт.

¹ *Рассыльный* — курьер.

Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, чёрные тени и безотчётная радость, наполнявшая её душу, говорили ей, что из неё выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают её успех, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на неё со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский укутал её в свой плащ и сказал печально:

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он всё время глядел на неё, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас... — шептал он, дыша ей на щеку. — Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормотал он в сильном волнении. — Любите меня, любите...

— Не говорите так, — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. — Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилося сердце. Она хотела думать о муже, но всё её прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далёким-далёким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, — думала она, закрывая лицо руками. — Пусть осуждают *там*, проклинают, а я вот на зло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать всё в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая её и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слёз, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжёлые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте, — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

<...>

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа¹, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстёгнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть всё от мужа и что на это хватит у неё умения и силы, но теперь, когда она увидела широкоую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему всё, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

¹ *Ватерпру́ф* (от англ. — *вода* и *выдерживающий испытание*) — женское летнее непромокаемое пальто.

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего... — сказала она. — Это я так...

— Сядем, — сказал он, поднимая её и усаживая за стол. — Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на неё и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелёва, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстёгивал все пуговицы своего пиджака и опять их застёгивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы¹ иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты² в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашёл рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, т. е. не лгать. После обеда Коростелёв садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелёв брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал»³, а Дымов ещё раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыс-

¹ *Диафра́гма* (анат.) — перегородка из мышц, разделяющая грудную и брюшную полости.

² *Неврít* — заболевание нервной системы: воспаление нервных волокон.

³ «*Укажи мне такую обитель...*» — отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» стал песней, весьма популярной в среде демократической интеллигенции.

лю, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, всё уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у неё мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, от чего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под её влиянием и вообще, благодаря её влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние её так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке¹ с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его весёлым и восхищённым своею, в самом деле, великолепную картину; он прыгал, дурачился и на серьёзные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела её, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал ещё ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил её, не бросал, чтобы пожалел её, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без её хорошего влияния он собьётся с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчёт билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придёт к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала

¹ *Сюртук (сертук)* — мужская верхняя двубортная одежда: приталенный пиджак с полами до колена.

ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелёв понимает всё. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идёте? — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеётся над её ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать.

Дымов оставлял Коростелёва в гостиной, шёл в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжёлую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что ещё можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у неё Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случилось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетёт меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об её романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетёт меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйста, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо¹, в спальню вошёл Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, садясь и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять причёску. — Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру² по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё, и настоящее и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошёл в больницу и всё время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte*³ и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, поженски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе

¹ *Трюмо* — зеркало.

² *Приват-доценту́ра* — звание приват-доцента, внештатного старшего преподавателя университета. Обратите внимание: уже вторая работа Дымова — вне штата.

³ *Nature morte* (франц. — «мёртвая природа») — натюрморт, жанр живописи: изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

с мольбертом до пола чёрным коленкором¹. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому, очень смущённый, как бы удивился её приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд... — сказала она робко, тонким голоском, и губы её задрожали, — *nature morte*.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошёл в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— *Nature morte*... первый сорт, — бормотал он, подбирая рифму, — курорт... чёрт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, *она* ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжёлым и уйти, но она ничего не видела сквозь слёзы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал... — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьёзно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное — не зарыдаты, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от

¹ *Коленкóр* — здесь: плотная материя.

живописи, и от тяжёлого стыда, который так давил её в мастерской. Всё кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю¹, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и всё время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жёсткое, полное собственного достоинства письмо и как весной или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнёт новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет всё одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан её хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что её влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты неходи ко мне, а только подойди к двери. Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелёвым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо... — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошёл к дивану и лёг. — Пошли! — глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. — Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню, и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя

¹ *Барнай, Людвиг* (1842–1924) — немецкий актёр и театральный деятель, участвовал в создании Немецкого театра; гастролировал в России в конце XIX века.

в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с жёлтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелёву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжёлой от бессонницы головой, непричёсанная, некрасивая и с виноватым выражением, вышла из спальни, мимо неё прошёл в переднюю какой-то господин с чёрною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелёв и правой рукой крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пущу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он всё равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шёпотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, — пробормотал Коростелёв, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные плёнки¹. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжёлая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона², потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелёв, одевшись своё время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

¹ *Дифтеритные плёнки* — плёнки, образующиеся на слизистых оболочках носоглотки больного дифтеритом.

² *Протодьякон* — в православной церкви: старший дьякон в храме.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог её наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелёва: он знает всё и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, и дифтерит только её сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у неё была с Рябовским. — Будь оно всё проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелёвым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелёва и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да ещё с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что её сию минуту убьёт бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу ещё не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем её не исправишь...

После обеда наступили потёмки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелёв спал на кушетке, подложив под голову шёлковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... — храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была не причёсана и неряшливо одета, — всё это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелёв уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости, — сказал он вполголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешёл в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелёв — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в небутанной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытё, — спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... грек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлатъ?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошёл в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелёва.

— Который час? — спросила она.

— Около трёх.

— Ну что?

— Да что! Я пришёл сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слёзы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторил он тонким голосом и опять всхлипнул. — Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелёв, ломая руки. — Господи боже мой, это был бы такой учёный, какого теперь с огнём не найдёшь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелёв в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа — не человек,

а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой учёный, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелёв поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились её покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нём будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковёр на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиную мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-жёлтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по чёрным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь ещё была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко. — Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не всё ещё потеряно, что жизнь ещё может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснётся. — Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелёв говорил горничной:

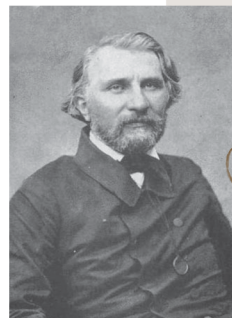
— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки¹. Они и обмоют тело и уберут — всё сделают, что нужно.

¹ *Богаделка* — старая женщина, жившая в богадельне, благотворительном заведении (приюте). Богаделки часто помогали во время похорон.



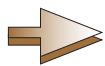
Решаем читательские задачи

1. Почему Дымов словно не замечает неподобающего поведения своей жены? Почему он всегда потакает ей?
2. Рассказ назван «Попрыгунья», а не «Доктор Дымов». Что нам говорит название об авторском замысле?
3. Вспомните, что такое кульминация и развязка. Определите, какая сцена в рассказе является кульминационной. С каким событием связана развязка рассказа?
4. Какие события стали поворотными в жизни молодой семьи? Была ли надежда восстановить прежние отношения, забыть непорядочность Ольги Ивановны?
5. О чём свидетельствуют слова в конце рассказа: «Прозевала! прозевала!»?



Наедине с поэтом





Стихотворения в прозе



ВЛЭ

Стихотворение в прозе — термин, которым принято обозначать прозаическое произведение, напоминающее по своему характеру лирическое стихотворение, но лишённое стихотворной организации речи. Некоторые исследователи относят стихотворения в прозе к лиро-эпическому жанру.

Это небольшое произведение, прозаическое и лирическое одновременно. В нём главное — авторские эмоции, переживания лирического героя, поэтому сюжет ослаблен или вовсе отсутствует.

Ритмичность текста создаётся с помощью *лексических повторов, рефрена, анафоры, инверсии, синтаксического параллелизма*. Кроме того, используется приём звукописи, позволяющий передать мелодику стихотворения.

В них широко используются *развёрнутые метафоры*, а также такой приём, как *аллегория* (иносказание), с наличием в ней конкретной символики.

Литературоведы выделяют также ритмическую прозу. В широком смысле это прозаический текст, организованный по ритмическим законам поэзии: значительную роль, как и в стихотворении в прозе, играют лексические повторы, инверсия, синтаксический параллелизм, звукопись. При чтении ритмической прозы создаётся иллюзия определённой повторяемости, размеренности. Ярким примером ритмической прозы может служить отрывок из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»: *«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься? Дымом дымитесь под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?»*

При выразительном чтении текст зазвучит ритмично, эмоционально. Однако перед нами фрагмент прозаического произведения, а не

стихотворение в прозе, которое отличается небольшим объёмом и ярко выраженным лирическим сюжетом.



Возьмите на заметку!

В 9 классе при изучении поэмы Н. В. Гоголя обратите внимание, что *лирические отступления* в «Мёртвых душах» организованы по законам именно *ритмической прозы*. Каждое из них содержит эмоциональное переживание автора, размышляющего о роли писателя, о русском народе, о юности и зрелости. Эти отступления – часть большого прозаического произведения и подчинены общей цели писателя.

В более узком понимании ритмическая проза – это проза, которая содержит определённые стопные закономерности: текст написан одним из трёхсложных стихотворных размеров (дактилем, амфибрахием или анапестом). Например, у Андрея Белого в романе «Маски» читаем: *«С конюшнею каменной, с дворницкой, с погребом, – не прилипающий к семиэтажному дому, но скромным достоинством двух этажей приседающий там, за литою решеткою, перевисающий кариатидами, тёмно-оливковый, с вязью пальметт¹ – особняк: в переулке, в Леонтьевском!»*

Перед нами прозаический текст, написанный *амфибрахием*. Подобные примеры ритмической прозы очень редки. От лирического произведения такая проза отличается исключительно отсутствием деления на строфы и отсутствием рифмы.

От *ритмической прозы* и *стихотворений в прозе* следует отличать **верлибр** (от *франц.* *verse libre* – «свободный стих»). Как следует из названия, *верлибр* – это стихотворная форма, находящаяся на грани стихов и прозы. В верлибре отсутствует рифма, в строке может быть произвольное количество слогов, хотя присутствует определённая ритмичность, от стихотворения в нём строфическая форма, а также обязательная пауза в конце каждого стиха. Кроме того, *верлибр*, как и любое поэтическое произведение, предельно метафоричен, насыщен многозначными символическими образами и содержит лирический сюжет (движение чувства лирического героя).

¹ *Пальмётта* (*фр.* *palmette* – украшение в виде пальмового листа) – архитектурное украшение (одна из декоративных форм): растительный орнамент в виде веерообразного листа пальмы, цветка аканта или жимолости.

Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я...
Чаще всего мне приятно скользить по заливу, —
Так, — забываясь
Под звучную меру весла,
Омоченного пеной шипучей, —
Да смотреть, много ль отъехал
И много ль осталось,
Да не видать ли зарницы...

А. Фет



Повторяем пройденное

Прочитайте выразительно миниатюру М. Ю. Лермонтова «Синие горы Кавказа...», фрагмент которой знаком вам из курса литературы 7 класса.

Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство моё; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею!..

Часто во время зари я глядел на снега и далёкие льдины утёсов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и, в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу всё темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подоился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком уж смущенье, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.

[Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безыменная речка, и выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный, иль просто охотник... всё, всё в этом крае прекрасно]

Воздух там чист, как молитва ребёнка; и люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа гово-

рит. В дымной сакле, землёй иль сухим тростником покровенной, таятся их жёны и девы, и чистят оружие, и шьют серебром, в тишине увядая душою — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.

1832



Литературная мастерская

1. Можно ли сказать, что перед вами *стихотворение в прозе*?
2. Какие чувства лирического героя отображены в произведении? Какие *сравнения и метафоры* показались вам наиболее яркими, выразительными?
3. Определите, с помощью каких художественных средств создаётся ритмичность, поэтичность прозаического текста. Выразительно прочитайте произведение ещё раз, передавая при чтении его эмоциональность.



Повторяем пройденное

Вспомните, что вам известно о жизни и творчестве И. С. Тургенева. Какие произведения писателя произвели на вас наиболее сильное впечатление и почему?

«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева

Тургенев не собирался работать над *сборником* стихотворений: он сложился сам собой, из отдельных «стихотворений», написанных в разное время по разным поводам. Это был ответ поэтической души на радости и горести жизни. Тургенев поначалу и не планировал публиковать эти небольшие поэтические зарисовки. Тому факту, что они всё же оказались опубликованными, мы должны быть благодарны другу писателя М. М. Стасюлевичу, который был редактором журнала «Вестник Европы». Именно он уговорил писателя опубликовать в 12 номере за 1882 год большую часть миниатюр. Позже жанр миниатюр стали называть «стихотворения в прозе».

Тургенев не настаивал на том, что собрание его цельное и незыблемое. Наоборот, обращаясь к читателям, он писал:

«Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, вероятно, скучно станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздробь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу».

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882

Советуем прочитать

«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы...», «Щи», «Два богача», «Воробей», «Порог», «Памяти Ю. Вревской», «Роза», «Когда меня не будет», «Сфинкс».



Выскажите своё отношение к прочитанному

1. Какое впечатление произвели на вас *стихотворения в прозе* И. С. Тургенева? Заинтересовали ли они вас?
2. Что показалось вам необычным в этом жанре? Легко ли понять стихотворение в прозе?



Решаем читательские задачи

1. Почему *стихотворения в прозе* И. С. Тургенева часто называют его «лирическим дневником»?
2. Все миниатюры, входящие в «Стихотворения в прозе», прозой и написаны. Почему же их всё-таки называют стихотворениями?
3. «Русский язык» состоит из трёх предложений. Есть ли в этом стихотворении лирический сюжет?
4. Какая интонация главенствует?
5. Покажите динамику поэтического чувства в стихотворении «Русский язык»: как начинается, как обретает силу, как достигает кульминации.
6. Выучите стихотворение «Русский язык» наизусть.



Литературная мастерская

- С помощью каких *эпитетов* характеризует Тургенев русский язык?

- Можно ли назвать последнее предложение стихотворения в прозе «Русский язык» *риторическим восклицанием*? Как вы понимаете его?
- Как бы вы определили тему этого стихотворения в прозе? Почему, на ваш взгляд, автор не мыслит историю народа вне языка? Что символизирует собой русский язык?

Эгоист

В нём было всё нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи.

Он родился здоровым; родился богатым — и в течение всей своей долгой жизни, оставаясь богатым и здоровым, не совершил ни одного проступка, не впал ни в одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу.

Он был безукоризненно честен!.. И, гордый сознанием своей честности, давил ею всех: родных, друзей, знакомых.

Честность была его капиталом... и он брал с него ростовщичьи проценты.

Честность давала ему право быть безжалостным и не делать неуказного добра; и он был безжалостным — и не делал добра... потому что добро по указу — не добро.

Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной — столь примерной! — особы, и искренно возмущался, если и другие так же старательно не заботились о ней!

И в то же время он не считал себя эгоистом — и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм! Ещё бы! Чужой эгоизм мешал его собственному.

Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь, со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружён самым собою.

Он даже не понимал: что значит прощать? Самому себе прощать ему не приходилось... С какой стати стал бы он прощать другим?

Перед судом собственной совести, перед лицом собственного бога — он, это чудо, этот изверг добродетели, возводил очи горé и твёрдым и ясным голосом произносил: «Да, я достойный, я нравственный человек!»

Он повторит эти слова на смертном ложе — и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце, в этом сердце без пятнышка и без трещины.

О безобразие самодовольной, непреклонной, дёшево доставшейся добродетели, ты едва ли не противней откровенного безобразия порока!

Декабрь, 1878



Решаем читательские задачи

1. Как лирический герой относится к главному герою «Эгоиста»? В чём вы замечаете такое отношение? Насколько оно оправданно?
2. Чем же «эгоист» заслужил такое негодование лирического героя?
3. Почему главный персонаж «Эгоиста» не наделён именем?



Литературная мастерская

- Найдите *антитезы* в «Эгоисте». Какую роль они играют в тексте стихотворения в прозе?
- Найдите в тексте *лексические повторы*: с одинаковой ли интонацией, по вашему мнению, их следует читать? Обоснуйте своё мнение.



Давайте поспорим

Первоначально И. С. Тургенев хотел назвать цикл миниатюр «Senilia» (старческое). Почему, на ваш взгляд, он остановился на «Стихотворениях в прозе»?



Творческое задание

1. Проанализируйте самостоятельно любое стихотворение в прозе на ваш выбор. Отрадите в своей работе тему миниатюры, покажите, как развивается лирический сюжет, обратите внимание на чувства лирического героя и изобразительно-выразительные средства, с помощью которых они выражены. Расскажите также об особенностях композиции и проблематике произведения.

2. Создайте обложку для «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева и напишите аннотацию к ним. Помните: аннотация должна заинтересовать читателей, побудить их прочитать книгу.

3. Попробуйте создать своё стихотворение в прозе. Выберите тему, обдумайте, какие чувства вы хотите передать, какие изобразительные средства будете использовать.



Виртуальная кладовочка

<http://gotourl.ru/13432> — на сайте размещены стихотворения в прозе И. С. Тургенева.

<http://gotourl.ru/13433> — сайт посвящён жизни и творчеству И. С. Тургенева; здесь есть интернет-клуб для обсуждения произведений писателя.

Сонеты



ВЛЭ

Сонёт — (итал. sonetto) твёрдая форма: стихотворение в 14 строк из двух четверостиший и двух трёхстиший с особым расположением рифм. *Сонет* возник в XIII веке в Италии. В XVI веке получил распространение во Франции. В Англии в XVII веке его разрабатывал У. Шекспир.

Венок сонетов — цикл произведений из 15 сонетов. Это сложнейшая стихотворная форма: первая строка каждого из сонетов повторяет последнюю строку предыдущего; заключительный сонет, называемый *магистрálлом*, повторяет последовательно первую строку каждого из 14 сонетов, связывая их воедино.

Сонеты У. Шекспира

Сонеты У. Шекспира всегда привлекали к себе не только читателей, но и поэтов-переводчиков. Несколько поколений наших соотечественников выросли на переводах С. Я. Маршака. Им написаны не только детские стихи и сказки (пьесы Маршака «Двенадцать месяцев» и «Умные вещи» шли одновременно в сотнях детских театров), но и многочисленные статьи и исследования. Кроме того, С. Я. Маршак постоянно занимался переводами. Он прекрасно знал английский язык и настолько хорошо владел шотландским диалектом, что, переводя шотландских поэтов, сделал их знаменитыми столетия спустя после их смерти. Многие годы он посвятил переводу шекспировских сонетов.

Перед вами несколько сонетов У. Шекспира, переведённых С. Я. Маршаком. Они различаются по тематике: 68-й сонет посвящён другу; 116-й воспевает подлинную любовь, которую не способна опорочить измена; в 130-м лирический герой восхищается скромной, неброской красотой подруги.

Шекспир в сонетах был страстен и порой яростен. В переводах Маршака лирический герой сонетов Шекспира оказывается более сдержанным и мягким: по мнению переводчика, такова традиция русских сонетов. (В русской поэзии сонет известен с XVIII века, сонеты есть у В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, А. А. Дельвига и других поэтов первой четверти XIX века.)

68

Его лицо — одно из отражений
Тех дней, когда на свете красота
Цвела свободно, как цветок весенний,
И не рядилась в ложные цвета,

Когда никто в кладбищенской ограде
Не смел нарушить мертвенный покой
И дать забытой золотистой пряди
Вторую жизнь на голове другой.

Его лицо приветливо и скромно.
Уста поддельных красок лишены.
В его весне нет зелени заёмной
И новизна не грабит старины.

Его хранит природа для сравненья
Прекрасной правды с ложью украшения.

116

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.

Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнувший во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я не прав и лжёт мой стих,
То нет любви — и нет стихов моих!

Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.



Выскажите своё отношение к прочитанному

Понравились ли вам сонеты У. Шекспира? Какой из них особенно привлёк ваше внимание и почему?



Решаем читательские задачи

1. Тематическое различие трёх сонетов очевидно, но сказывается ли это на поэтическом стиле? Докажите вашу точку зрения, подтверждая примерами из текста.
2. Выучите один из сонетов У. Шекспира наизусть. Можете выбрать сонет самостоятельно.
3. Попробуйте дать своё определение этому лирическому жанру. Запишите его в тетради.



Обсудим вместе

- Каким представляется вам лирический герой каждого сонета? Можно ли, на ваш взгляд, сказать, что это один и тот же человек?
- Какие качества ценит лирический герой в своём друге? Прочитайте строки, подтверждающие ваше мнение.

- В чём необычность портрета любимой женщины, который нарисован в сонете 130? Как представляете вы себе героиню? В чём, по вашему, привлекательность её образа?



Литературная мастерская

1. С помощью каких *эпитетов* создаётся образ друга лирического героя? Какие из них кажутся вам наиболее выразительными?
2. Какие *изобразительно-выразительные средства* использует автор для описания сущности любви в сонете 116? Какова, на ваш взгляд, роль *лексического повтора*?
3. На каких контрастах построен образ возлюбленной в сонете 130? Какие традиционные *сравнения* переосмысляет поэт и почему?
4. А теперь прочитайте знаменитый сонет У. Шекспира в переводе Б. Л. Пастернака. Найдите, где пролегает условная граница между двумя частями сонета. Почему вы так решили?

66

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живётся богачу,
И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли замкнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушие простотой слывёт,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Советуем прочитать

Аникст А. А. Поэмы, сонеты и стихотворения Шекспира.



Давайте поспорим

А. А. Аникст писал: «Сложность поэтической образности сонетов отражает стремление выразить всю сложность самой жизни, и в первую очередь душевного мира человека. <...> Иногда кажется, что речь идёт о каком-то чисто личном, мимолётном настроении, но поэт непременно связывает его с чем-то бóльшим, находящимся вне его. Через образы и сравнения утверждается идея мирового единства. То, что происходит в душе одного человека, оказывается связанным со всем состоянием мира». Подтвердите или опровергните точку зрения литературоведа, опираясь на поэтические тексты.



Обсудим вместе

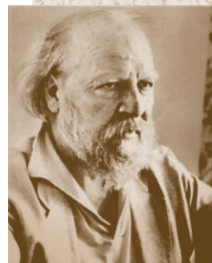
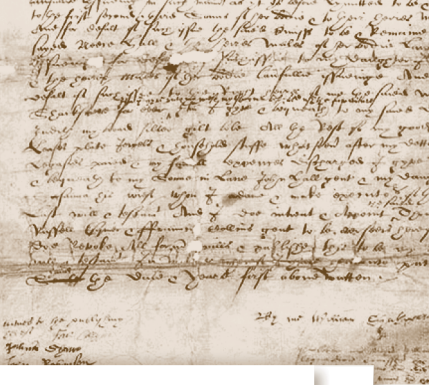
Сколько строк в прочитанных вами сонетах? Как разворачивается в сонетах развитие темы? Насколько близки в этом жанре лирический герой и поэт — создатель сонета?



Творческие задания

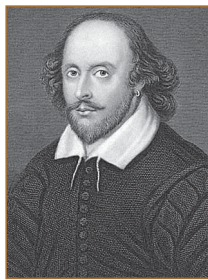
1. Возможно, вам захочется создать свой сонет. Обдумайте тему, которая должна быть раскрыта в нём. Выберите *изобразительно-выразительные средства*: подберите *эпитеты*, *сравнения* и *метафоры*, которые позволят лучше раскрыть тему. Продумайте, какие чувства вы хотите передать. Не забудьте о форме сонета.

2. Некоторые исследователи считают, что С. Я. Маршак переводил сонеты Шекспира языком В. А. Жуковского. Другие полагают, что Маршак вырос под поэтическим влиянием И. А. Бунина. Чей стиль напоминают вам сонеты Шекспира в переводе С. Я. Маршака? Почему вы пришли к такому заключению? Напишите об этом.



Из зарубежной литературы





Уильям Шекспир (1564–1616)

«Шекспировский канон», то есть пьесы, наверняка вышедшие из-под пера Шекспира, состоит из 37 драм. Когда же они появились на свет? Как Шекспир стал Шекспиром, великим английским драматургом и поэтом? Почему именно ему, а не Бену Джонсону или Кристоферу Марло, довелось стать великим писателем, гением театра, реформатором английского языка?

Родился Уильям Шекспир в зажиточной семье. Его отец был модным перчаточником, от заказов отбоя не было. Мальчик получил хорошее образование в стратфордской школе, где, к примеру, учитель латыни писал на этом языке стихи. Рано женившись, Уильям Шекспир уже к 22 годам стал отцом троих детей. И вдруг он исчез... Было лишь известно, что он направился в Лондон попытать счастья в качестве актёра.

В Лондоне хватало и театров и зрителей, вот пьес было маловато. Первой пьесой Шекспира, поставленной в театре, стала хроника «Генрих VI». Завистники Шекспира сразу же называли его «потрясатель сцены», намекая на его фамилию — «потрясатель копьём». Таким был первый сохранившийся отзыв. Но к первой постановке Шекспиру пришлось пробиваться. Ради своей мечты он был готов на любую работу — лишь бы она была хоть как-то связана с театром. Как современный театр «начинается с вешалки», так театр времён Шекспира начинался... с конюшни! Если зритель приезжал верхом, а не в экипаже, то кому-то приходилось приглядывать за его лошадыю. Молодой Шекспир предлагал свои услуги за небольшую плату. Ему начали доверять, выискивали его в толпе. Вскоре Шекспир понял, что ему не справиться с целым табуном лошадей, привязанных там и сям по всему периметру театрального здания. Он начал нанимать в помощь мальчиков. Как

только конный зритель спешилался и звал Шекспира, перед ним возникал шустрый мальчуган, называвший себя «шекспировским мальчиком». Познакомившись с влиятельными зрителями, Шекспир сумел передать свою рукопись в театр и добиться постановки.

Но этому забавному предприятию вскоре пришёл конец. В 1592 году лондонские театры закрываются из-за эпидемии чумы. Поднакопив денег, Шекспир создаёт несколько пьес впрок: «Ричард III», «Комедия ошибок», «Укрощение строптивой», «Тит Андроник». Когда в 1594 году театры открываются — начинается эпоха Шекспира. Он царствует в самых популярных жанрах. Один из современников пишет: «Подобно тому, как Плавт и Сенека считались у римлян лучшими по части комедии и трагедии, так Шекспир у англичан является наипревосходнейшим в обоих видах пьес, предназначенных для сцены». В первый период своего творчества, в 1590-е годы, Шекспир создаёт свои основные хроники и большинство комедий. В 1595 году написана трагедия «Ромео и Джульетта», за ней — «серьёзная комедия» «Венецианский купец». Он становится состоятельным человеком, и, когда осенью 1599 года открывается театр «Глобус», Шекспир уже не только актёр и репертуарный драматург, но и совладелец театра.

С начала XVII века в его творчестве начинается период «великих трагедий» (1601–1606): «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».

После смерти королевы Елизаветы в 1603 году трон унаследовал Яков I, сын казнённой Марии Стюарт. Новый король принял труппу под своё покровительство. Шекспир мог именоваться «службой его величества короля». 1606–1613 годы — последний период шекспировского творчества, за время которого созданы трагедии на античные сюжеты: «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Тимон Афинский», а затем «романтические» пьесы, среди которых выделяются «Зимняя сказка» и «Буря». Неожиданно в 1613 году Шекспир бросает все дела и возвращается в Стратфорд. Считается, что он тяжело заболел. Во всяком случае, его завещание, написанное в марте 1616 года, производит более чем странное впечатление: он оставляет распоряжения относительно домашней утвари, но не говорит ни слова о пьесах, поэмах и сонетах. Он умер в свой день рождения — 23 апреля 1616 года. Преклонявшиеся перед его памятью земляки похоронили Шекспира в алтаре церкви Святой Троицы в Стратфорде.

Трагедия «Ромео и Джульетта»

Считается, что Шекспир не любил вносить исправления в свои пьесы. Однако современникам было известно: над «Ромео и Джульеттой» он работал весьма тщательно.

Шекспир, в отличие от многих своих современников-драматургов, охотно отдавал свои пьесы в печать, хотя платили за публикации гораздо меньше, чем за постановки. Вот и трагедия «Ромео и Джульетта» ещё при жизни Шекспира была издана в 1597, 1599, 1609 годах. После смерти Шекспира усилиями его друзей-актёров было подготовлено первое полное издание его драматургии, включавшее 36 пьес, — так называемое «Первое Фолио» (The First Folio). Восемнадцать из них ранее вообще не печатались. Трагедия «Ромео и Джульетта» была включена в это знаменитое «фолио» 1623 года.

В одном издании было 3007 строк, в другом — 2232 строки. Считалось долгое время, что Шекспир после 1597 года сам переделал свою трагедию, расширив её. Но затем выяснилось, что редакция 1597 года была, как бы мы сейчас сказали, «контрафактным» изданием, варварски изувеченным и сокращённым. В этом сокращении Шекспир не участвовал.

Возникла гипотеза, что пьеса была написана на два-три года раньше её первого издания. Шекспироведы опирались на ряд стилистических признаков, напоминавших раннее творчество Шекспира. Принято датировать пьесу 1595 годом.

Читателям особенно полюбилась сцена ночного свидания Ромео и Джульетты. Известный литературовед А. А. Аникст рассказывает, что «в фолио 1623 года, находившемся в читальном зале Оксфордского университета, наиболее замусолены уголки страниц, содержащих данную трагедию, и особенно те из них, где напечатана ночная сцена свидания».

Мы видим, что в основе драмы — трагическая история любви двух выходцев из враждующих кланов. Шекспировские герои получили имена враждующих семей из «Божественной комедии» Данте — Монтекки и Капулетти («Чистилище», VI, 106). Эта история в литературе уже стала к шекспировским временам традиционной. Она встречалась у итальянских писателей. Появились и иноязычные версии: французский перевод Пьера Буато («Трагические истории», 1599) был в свою очередь переведён на английский язык Пейнтером («Дворец наслаж-

дений», 1565–1567), свободно изложен в пространной поэме Артура Брука «Ромео и Джульетта» (1562). Поэма Брука стала непосредственным источником для Шекспира. Известно, что в те времена ценились не пьесы на новый сюжет, а драматические переработки уже известных сюжетов.

После появления «Истории Вероны» Джироламо делла Корта, где рассказ был выдан за истинное происшествие, появилась и поддельная гробница Ромео и Джульетты. Её до сих пор показывают в Вероне туристам.

Шекспир верил, что «Весь мир — театр» («Totus mundis agit histrionem»).

«Сущность закона — человеколюбие», как мы узнали из творчества Шекспира. Более 3200 слов появилось в английском языке благодаря великому писателю. Кульминацией его творчества стало слияние поэта с мыслителем и творческого вдохновения — с критической и созидательной мыслью. Об этом мы поговорим с вами в 9 классе, когда будем изучать другую великую трагедию Шекспира — «Гамлет».

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Трагедия в 5 действиях
Перевод А. А. Григорьева
(Отрывок)

Действующие лица сцен:

Ромео, сын Монтекки.
Джульетта, дочь Капулет.
Кормилица Джульетты.

АКТ ВТОРОЙ

<...>

СЦЕНА II

[Объяснение Ромео и Джульетты]
Сад Капулетов.
Входит Ромео.

Ромео.

Болезнью шутит тот, кто ран не ведал.
(*Джульетта показывается у окна.*)
Но тише! Что за свет в окне мелькнул?
О! то — восход! Джульетта — солнце!
Встань, солнце красное! Убей ты месяц
Завистливый, поблекнувший с печали,
Что, жрица месяца, его ты краше.
Не будь же жрицей ты его, когда он
Тебе завидует. Покров его весталки¹,
Болезненно-туманный, сбрось с себя ты!
Вот, вот моя царица, вот моя любовь!
Когда б она лишь знала!.. Что-то шепчут
Её уста... но не слова. Что нужды?
Взгляд говорит и я отвечаю... нет!
Я слишком дерзок, — не ко мне те речи!
Две самых ярких звёздочки небесных,
Куда-то отлучившихся, велели
Очам её блистать до их возврата.
А что, когда бы точно были очи
На месте их, — они же там, где звёзды?
Померкли б эти звёзды перед блеском
Её ланит, как меркнет перед светом
Дневным лампада; очи же с вершины
Небес такой бы разливали свет
В воздушных высях, что запели б птицы,
Принявши ночь за день... Вот, вот она
Склонилась на руку щекою...
Ах! если б быть перчаткой этой ручки,
Коснуться этой щёчки!

Джульетта.

Горе!

¹ *Весталка* — у древних римлян: жрица Весты, богини домашнего очага, поддерживавшая огонь в храме, давшая обет целомудрия, вечного безбрачия.

Ромео.

Говорит!

О, говори же, светлый ангел! Блещешь
Ты в этой тьме над головой моей,
Как блещет неба посланец крылатый,
Когда пред изумлёнными очами
Во прах повергшихся людей опережает
Он облаков тяжёлый ход
И по воздушной выси реет.

Джульетта.

О Ромео, Ромео! Отчего, зачем
Ты Ромео? отрекись ты от отца,
От имени ты откажись, иль если
Нельзя уж то, так поклянись в любви ты,
И я не буду больше Капулет.

Ромео.

Ещё ли слушать мне иль говорить?

Джульетта.

Одно твоё лишь имя — враг мне... Но ведь ты
Сам по себе, ты не Монтекки. Что такое
Монтекки? Не рука ведь это, не нога
И не лицо, не тела член какой;
Не человека часть... Зовись же ты иначе!
И что такое имя? Что зовём мы розой,
Зовись она иначе, запах тот же!
И Ромео, не зовись он Ромео, весь бы
Прекрасен и без имени остался,
О! сбрось ты имя Ромео, и за имя,
Которое — не часть же самого тебя,
Возьми ты всю меня.

Ромео.

Ловлю тебя на слове...

Ты милым назови меня своим —
И я перекрещён, и я уж больше
Не Ромео.

Джульетта.

Кто ты, тьмой ночью скрытый,
Подслушавший признания мои?

Ромео.

Уж я теперь не знаю, как и зваться!
Мне прозвище моё, моя святая,
Отныне гнусно... враг оно тебе...
И, будь оно лишь на бумаге, я бы
Его теперь навеки зачеркнул!

Джульетта.

Ещё ста слов в ушах не прозвучало,
Произнесённых этим голосом, а мне
Знакомы словно эти звуки!.. ты
Не Ромео ли, увы! и не Монтекки ль?

Ромео.

Ни тот и ни другой, моя святая,
Когда тебе тот и другой противны!

Джульетта.

Как ты пришёл, скажи мне, и зачем?..
Стена и высока и неприступна...
Ты вспомни только, кто ты!.. Смерть тебе,
Коль здесь тебя мои родные встретят!

Ромео.

На лёгких крыльях страсти через эту
Я стену перенёсся... Удержать ли
Любовь преградам каменным?.. Она
Что может сделать, то и смеет сделать;
И нет мне нужды до твоих родных!

Джульетта.

Тебя убьют они, коли увидят.

Ромео.

Увы! Опасней мне твои глаза,
Чем двадцать их мечей... Лишь ласково взгляни ты,
И закалён я против их вражды.

Джульетта.

Дай Бог, чтобы тебя не увидели!

Ромео.

От взоров их я скрыт покровом ночи.
А если ты меня не любишь, — мне всё
Равно тогда, хотя б и увидели!
Конца своей я жизни от вражды их
Желаю лучше, чем отсрочки смерти
Холодностью твоею...

Джульетта.

Кто сюда
Дорогу указал тебе?

Ромео.

Любовь,
Которая искать её велела...
Она совет дала мне, я — глаза ей...
Я не моряк, но будь ты далеко,
Как твёрдая земля за дальним морем,
Пустился б за таким товаром я.

Джульетта.

Ты знаешь, маска тьмы теперь скрывает
Лицо моё, а то бы на щеках ты
Девичьего стыда увидел краску,
Стыда за все мои за речи к ночи,
Тобой подслушанные. Рада я
Была бы соблюсти приличье; рада
Была бы отпереться от того,

Что я сказала... но прощай, пристойность!
Меня ты любишь ли? Ты, знаю, да! ответишь,
А я поверю на слово... Но если
И поклянёшься, — можешь изменить
Ты клятве! Только что смеётся, говорят,
Юпитер над любовным вероломством!
О, милый Ромео! Если вправду любишь —
Скажи ты честно; если ж ты подумал,
Что достаюся слишком я легко,
Нахмурю брови я, сурова стану
И буду говорить всё нет! чтоб ты
Ухаживал за мной, а то ни за что в мире...
О, мой Монтекки!.. слишком влюблена я;
Меня сочтёшь ты ветреной, пожалуй;
Но, верь, синьор, вернее тех я буду,
Которые держать себя умеют.
Я тоже бы себя сдержала — надо
Признаться в том — когда бы не подслушал,
Без моего ты ведома, моих
Любви признаний искренних. Прости же
Ты мне и в легкомыслии меня ты
Не упрекай за то, что только ночь
Тебе открыла тёмная случайно.

Ромео.

Синьора, я клянусь луной святою,
Сребрящею верхи дерев, покрытых
Плодами...

Джульетта.

Не клянися ты луною,
Изменчивой луною, каждый месяц
Меняющею лик свой, — да не будет
Подобна ей твоя любовь!

Ромео.

Так чем же
Велишь мне клясться?

Джульетта.

Не клянись совсем ты,
Иль милым существом своим, кумиром
Единственным моим ты поклянися —
И я поверю!

Ромео.

Если сердца страсть...

Джульетта.

Нет, не клянись!.. Хоть ты моя и радость,
Но наш союз не радостен ночной мне...
Он слишком быстр, неждан, внезапен слишком,
Похож на молнию, которой нет уж,
Когда мы говорим: сверкает!.. Милый!
Покойной ночи! Наш цветок любви,
Быть может, пышно расцветёт под жарким
Дыханьем лета в новое свиданье.
Покойной ночи! доброй ночи! Сладок
Да будет сон твой!.. как дышать мне сладко!

Ромео.

И ты меня оставишь без отрады?

Джульетта.

Какая же возможна в эту ночь?

Ромео.

Любовью на любовь обмен ненарушимый.

Джульетта.

Я отдала свою ещё до просьбы, —
И жаль, что нечего мне больше отдавать.

Ромео.

Как? ты бы взять назад её хотела?

Джульетта.

Чтоб щедрой быть и вновь тебе отдать;
Но я — чего желаю, тем владею!
Во мне — как море безгранична щедрость
И глубока любовь: чем больше я
Даю тебе, тем больше я имею...
Любовь и щедрость — обе без конца.

(Слышен голос кормилицы.)

Я слышу в доме шум... Прощай, мой милый!
Сейчас иду, кормилица... Будь верен,
Мой дорогой Монтеки!.. Подожди
Одну минуту только: я вернусь. *(Уходит.)*

Ромео.

О, счастливая, счастливая ночь!
Боюсь я только: это всё не сон ли?
Сон слишком сладкий, чтобы был он правдой!

(Возвращается Джульетта.)

Джульетта.

Три слова, дорогой мой Ромео! А потом
Уже взаправду доброй ночи!.. Если
Твоей любви намерения честны
И мысль твоя — жениться, то пришли мне
Словечко завтра с тем, кого пошлю я:
Где и когда венчаться будем мы...
К твоим ногам судьбу свою сложу я
И — хоть на край земли — пойду, мой царь, с тобой!

Кормилица *(изнутри)*.

Синьора!

Джульетта.

Тотчас!.. Если ж у тебя
Дурное что на мыслях, то молю я...

Кормилица *(изнутри)*.

Синьора!

Джульетта.

Да иду... Молю покончить
Всё это и меня с моей печалью
Оставить одинокой... Завтра я
Пришлю...

Ромео.

Клянусь души моей спасеньем.

Джульетта.

Сто раз тебе желаю доброй ночи!
(*Уходит.*)

Ромео.

И во сто раз она темнее стала
Без света твоего. Любовь к любви
Бежит, как мальчики из школы, и лениво,
Как в школу мальчики, плетётся от любви.

Джульетта (*снова появляясь*).

Эй, Ромео, Ромео! Что мне не дан голос
Сокольников, чтоб тебя могла я
Призвать назад, мой благородный кречет!
Но вечно-хрипая неволя громко
Не в силах говорить, а то б пещеру,
Где Эхо¹ спит, заставила дрожать я,
У Нимфы бы охрип воздушный голос,
Как мой же, имя Ромео повторяя.

Ромео.

Душа моя меня, я слышу, кличет
По имени! Речь милой в тишине ночной —
Что музыки серебряные звуки!

¹ Эхо в те времена представлялось людям нимфой, откликающейся на их голоса.

Вспорхнуть с руки она немножко даст
Бедняжке — пленнице привязанной — и снова
Её притянет шёлковым шнурком,
Ревнуя нежно птичку к вольной воле.

Ромео.

Хотел бы я твоею птичкой быть!

Джульетта.

И я б того хотела, дорогой мой!
Да только заласкала б я до смерти!
Но — доброй ночи, доброй ночи! Так
Сладка печаль прощального привета,
Что «доброй ночи!» до дневного света
Твердила всё бы я! (*Уходит.*)

Ромео.

О, да сомкнёт
Твои ресницы сон! Да низойдёт
На сердце мир! Хотел бы обратиться
Я в сон и в мир, чтобы в тебя вселиться.
Теперь к отцу духовному пойду
Я в келью, с ним блаженством поделиться...
Благой совет и помощь я найду. (*Уходит.*)
<...>



Решаем читательские задачи

Прочитайте трагедию У. Шекспира «Ромео и Джульетта» целиком и ответьте на вопросы. В учебнике представлена одна из ключевых сцен пьесы — свидание главных героев.

1. Как называется драматическое произведение, в котором главный герой борется со своей несчастливой судьбой, но в неравной схватке гибнет? К какому жанру принято относить такие произведения?

2. Можно ли считать «Ромео и Джульетту» трагедией? Почему? Укажите жанровые признаки трагедии, встретившиеся в пьесе.

3. С кем борются герои шекспировской трагедии? Есть ли в ней внутренняя борьба героев?

4. Что стало причиной многовековой распри между кланами Монтекки и Капулетти?

5. Почему обстановка дома Джульетты Капулетти и характеры её родителей обрисованы Шекспиром гораздо подробнее, чем Ромео Монтекки?

6. Вспомните, что такое пафос в литературном произведении. Найдите определение пафоса. Теперь обратимся к полному тексту шекспировской трагедии. У В. Г. Белинского мы находим такие замечательные слова: «Пафос шекспировой драмы „Ромео и Джульетта“ составляет идея любви, — и потому пламенными волнами, сверкающими ярким светом звёзд, льются из уст любовников восторженные патетические речи... Это пафос любви, потому что в лирических монологах Ромео и Джульетты видно не одно только любование друг другом, но и торжественное, гордое, исполненное упоения признание любви как божественного чувства. В тех монологах Ромео и Джульетты, когда их любви начало угрожать несчастье, бурным потоком изливается энергия раздражённого чувства, вдруг встретившего препятствие своему вольному и широкому разливу». Укажите, о каких монологах говорил выдающийся русский критик.

7. Героев пьесы часто томят предчувствия, в которых они словно заглядывают в своё будущее, пытаются разгадать свою судьбу. Найдите эти сцены. А в каких сценах эти предчувствия сбываются?

8. Как изменяется характер Ромео от действия к действию? Каким он предстаёт перед читателями в начале пьесы? Какое событие оказывается поворотным для его нравственного возмужания?

9. Ромео восклицает: «О! Я игрушка рока!» В какой сцене это происходит? Как вы понимаете эту фразу?

10. Кто произносит приведённый ниже монолог?

«О, сердце змея под цветочной оболочкой!
Когда дракон в такой великолепной
Пещере обитал?.. Тиран
С неотразимою красою.
Бес в виде серафима! Хищный ворон
С крылами голубя!.. Ягнёнок,
Лютей волков свирепых! Содержанье
Презренное под дивно светлой формой.
Противоречье страшное тому,

Чем кажется на вид!.. Святой проклятый,
Вельможный нищий!.. О, природа! Что же
Ты создала из ада, если духа злобы
Ты в этот райский образ поселила —
И в переплёт такой красивый, многоценный
Когда-нибудь переплетали ль книгу
С столь гнусным содержанием? О! коварство
Обмана поселилось в палатах
Роскошнейших!»

О ком сказаны все эти гневные слова? Назовите тропы, используемые в этом монологе.

11. Кто из героев «Ромео и Джульетты» выступает вершителем судеб?
12. Представители какого клана гибнут чаще? Влияет ли это обстоятельство на ход трагедии? На её развязку?



Возьмите на заметку!

Когда мы изучаем произведения зарубежной литературы, всегда полезно почитать, что пишут о них гении нашей литературы. А. С. Пушкин писал о трагедии «Ромео и Джульетта»: «В ней отразилась Италия, современная поэту, с её климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с её роскошным языком, исполненным блеска и *concetti*¹. Так понял Шекспир драматическую местность. После Джульетты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий шекспировской грации, Меркутио, образец молодого кавалера того времени, изысканный, привязчивый, благородный Меркутио, есть замечательнейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал его в представителе итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века». Как неожиданно, не правда ли? Найдите сцены, в которых проявляется характер Меркуцио. Какие поступки Меркуцио дали основания для столь восторженной пушкинской оценки?



Возьмите на заметку!

Впервые этот перевод был опубликован в «Русской сцене» в 1864 году (№ 8, с. 401–460), в год смерти переводчика — Аполлона

¹ *Concetti* (итал.) — вымысел, воображение.

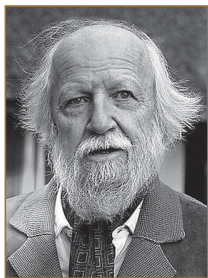
Александровича Григорьева (1822–1864) — поэта, известного литературного и театрального критика. Он получил прекрасное домашнее образование, что позволило ему, минуя гимназию, поступить на юридический факультет Московского университета. Его сокурсниками были замечательные русские поэты А. А. Фет и Я. П. Полонский. Григорьев окончил университет в 1842 году со званием первого кандидата. Он остался работать сначала в университетской библиотеке, потом секретарём Совета университета. Писать Аполлон Григорьев начал в 1843 году. Автор замечательных литературно-критических работ, впервые позволивших нам оценить мировое значение многих русских писателей XIX века, называл себя «последним романтиком». Свой метод, соединявший логический и художественный подход к познанию жизни, он именовал «органической критикой». Блестящий знаток литературы, неутомимый писатель и переводчик, он был на редкость несчастлив в личной жизни. Два раза ему пришлось отсидеть в долговой тюрьме. Умер Григорьев от апоплексического удара в Петербурге 25 сентября 1864 года.



Виртуальная кладовочка

<http://gotourl.ru/13436> — на этом сайте вы найдёте полное собрание сочинений У. Шекспира.

<http://gotourl.ru/13437> — здесь представлена информационно-исследовательская база данных «Русский Шекспир». Она включает в себя публикацию переводов произведений Шекспира на русский язык, вольных переложений и переделок его произведений, начиная с 1748 года, публикацию критических работ и исследований по самым разным вопросам творчества Шекспира.



Уильям Джералд Голдинг (1911–1993)

Писатель Уильям Голдинг — сэр Уильям Джералд Голдинг — стал классиком при жизни. Его литературный дебют был сенсационным: в возрасте 43 лет он опубликовал свой первый роман «Повелитель мух». Прежде чем роман увидел свет, 21 издательство отказалось опубликовать его! Можно представить себе, какие сожаления их потом ожидали. Ведь он стал одним из самых известных романов XX века, написанных на английском языке.

Голдинг получил прекрасное образование, окончил Оксфордский университет, через год после окончания опубликовал небольшую книгу стихов. Он всегда любил детей, поэтому, даже окончив элитный университет, преподавал в детском приюте, потом в школе. Он играл в театре, писал пьесы. Когда началась Вторая мировая война и гитлеровская авиация начала бомбить Англию, Голдинг ушёл на флот. Он был храбрым моряком, служил на ракетном корабле, участвовал во многих морских сражениях. Его корабль был одним из тех, что потопили знаменитый немецкий линкор «Бисмарк», считавшийся до этого непотопляемым, помогал союзникам высадиться в Нормандии и открыть второй фронт. Война изменила Голдинга. Он навсегда утратил иллюзии относительно человеческой разумности и способности сдерживать свою агрессию. Он возвращается к преподаванию и сочинительству, но вера в способность человечества к нравственному совершенствованию была навсегда поколеблена. Голдинг написал 4 книги, но издательства отказались их печатать. Наконец роман «Повелитель мух» пробился к читателю. Успех был столь очевидным, что спустя несколько лет Голдинг решил сосредоточиться на писательском труде. Его романы можно объединить по трём темам: о современном обществе, чрезвычайных ситуациях, в которых проявляются скрытые стороны человеческой природы, и... морские романы, действие которых происходит в XIX веке.

В 1983 году Голдинг стал автором ещё одной сенсации: Нобелевский комитет присудил ему звание лауреата в области литературы. Это было неожиданно, тем более что среди других кандидатов был всемирно популярный романист Грэм Грин (1904–1991). В нобелевской лекции, которую читает каждый новый лауреат, Голдинг объяснял особенности своего мировоззрения, отразившегося в творчестве: «Двадцать пять лет назад на меня легкомысленно наклеили ярлык пессимиста, не понимая, что этот титул прицепится надолго... И я не могу понять почему. Сам я не чувствую этой безнадежности». Вы познакомитесь с его лучшим романом «Повелитель мух», и мы попробуем вместе разобраться в его художественных особенностях.

Роман-притча «Повелитель мух»

Главными героями в романе стали мальчики, оказавшиеся после авиационной катастрофы на необитаемом острове. Они впервые остались без взрослых и теперь должны сами о себе заботиться.

На острове перед мальчиками стояли две задачи: во-первых, они должны выжить, а во-вторых, дать о себе знать взрослым, своим будущим спасителям. Решить эти задачи им нелегко. Нужно самим добывать себе пищу, научиться поддерживать огонь, вселять надежду и уверенность в своих товарищей по несчастью.

Ребята по-разному ведут себя на острове. Это и понятно: ведь они различаются не только по возрасту, но и по характеру, по темпераменту, по практической сметке. Тяжелее всех поначалу приходится малышам, ведь они ещё не привыкли жить без опеки старших. Когда нет взрослых, то всегда находятся лидеры среди детей. Именно становление детей как лидеров прежде всего интересует писателя. Быть может, разобравшись в психологических особенностях становления «детских лидеров», можно будет уже в раннем возрасте выявлять тех, кто способен нести бремя власти в будущем.

Автор разворачивает свой сюжет, опираясь на судьбы пятерых главных героев. Их зовут Ральф, Хрюша, Саймон, Роджер и Джек. В каждом из них автор воплощает тот или иной тип поведения и отношения к окружающим людям. «Каким образом вчерашние дети сегодня становятся преступниками и мудрецами, президентами и отщепенцами, наконец, просто серыми послушными обывателями?» — этот вопрос волнует писателя.

В первый день пребывания на острове без взрослых Ральф смотрит на отряд мальчиков, с которым и он оказался здесь. Это организованный, сплочённый детский коллектив, шагающий в две шеренги в ногу, строго по форме одетый: у каждого мальчика чёрный плащ с длинным серебряным крестом и с треугольным жабо, на голове чёрная квадратная шапочка с серебряной кокардой. И начинают ребята своё пребывание на острове вполне демократически: с выборов вожака на общем собрании. Голоса разделились между Ральфом и Джеком, но большинством голосов вожаком был избран Ральф.

Бремя лидерства — нелёгкое бремя. Даже те ребята, которые стремились закрепиться в лидерах, скоро начали это чувствовать. Вот какие мысли приходят в голову Ральфу: «Когда ты главный, тебе приходится думать и надо быть мудрым, в этом вся беда. То и дело надо принимать быстрые решения. И тут поневоле будешь думать, потому что мысли — вещь ценная, от них много проку».

Ребята пытаются организовать жизнь на острове, следят за тем, чтобы были построены шалаши, чтобы не было недостатка в пресной воде, чтобы малыши не плакали. Но не всегда это удаётся. Например, Джек и Роджер полюбили охоту на диких свиней и занимаются только ею. Ральфу, Хрюше и Саймону не хватает силы убеждения. Хоть они и более благоразумны, всё же эти ребята подвержены главной опасности: страху. Если поначалу всем было весело, они отчасти даже радовались, что остались без взрослых, то со временем они начали чего-то бояться.

Ральф заводит разговор о страхе. Он считает, что бояться нечего, хотя признаётся, что и сам иногда боится: «Только глупости это! Выдумки. Давайте разберёмся насчёт этого страха, и тогда он не будет нам мешать, и можно будет заняться серьёзными делами, как костёр, например...»

Его мысли подхватывает Джек: «Скажу всё прямо. Весь этот страх вы, малыши, сами выдумали. Зверь! Да откуда? Ну, бывает и нам страшно иногда, но подумаешь, дело большое — страшно! Вот Ральф говорит, вы по ночам орёте. Ну и что! Это просто от кошмаров... Нам тоже страшно бывает, но мы нюни не распускаем!» Страх парализует ребят, пронизывает всю их жизнь. Страх является во сне. Страх приходит наяву. Трудно сказать, чего именно боятся мальчики. Они стараются успокоить друг друга, но благоразумие порой уступает какому-то стремлению к дикости, необузданности.

Поворотным пунктом становится первая охота.

Углубившись в чащу зарослей, мальчики отправились на добывание пищи. Вдруг они увидели застрявшего в зарослях поросёнка, который визжал и бился, пытаясь выпутаться. Джек выхватил нож, но зарезать поросёнка рука у него так и не поднялась, «из-за того что даже представить себе нельзя, как нож врежется в живое тело, из-за того что вид пролитой крови непереносим». Однако Джек примерился. С досады он всадил нож в дерево и пообещал, что в следующий раз его рука не дрогнет.

Так оно и случилось. Джек стал хорошим охотником, но ребята стали замечать в нём слишком много жестокости. Казалось, вид крови опьяняет его, он перестаёт понимать, что главное, а что второстепенное. Для рассудительных ребят главное — поддерживать огонь, чтобы высокий столб дыма привлёк проходящие корабли. Джека и его друзей захватила охота, которая стала для них самым главным делом на острове.

Детская агрессия оказалась вовсе не детской, а тяга некоторых ребят к жестокости привела к тому, что мальчики раскололись. Меньшая часть решила поддерживать огонь и всеми силами стараться жить правильно и дожидаться помощи от взрослых, а подавляющее большинство решило вместе с Джеком заниматься охотой и называться племенем дикарей. Даже когда ребята стали называть себя дикарями, они ещё прекрасно помнили, что делать можно, а чего — нельзя. Характерен такой эпизод. Мальчики перекидываются камушками. Но, даже бросая камушки в сидящего на корточках Генри, Роджер нарочно промахивается. Он старается не попасть не только в своего приятеля, но даже в пространство рядом с ним: «Здесь невидимый, но строгий витал запрет прежней жизни. Ребёнка на корточках осеняла защита родителей, школы, полицейских, закона. Роджера удерживала за руку цивилизация, которая знать о нём не знала и рушилась». Однако не все оказались столь цивилизованными.

Лазая по острову, мальчики находят странную фигуру, которую они называли «Зверем». «Зверь» стал для них невиданным чудищем, которому они решили откладывать пищу, чтобы тот не трогал их самих. Забив свинью, они насаживают её отрубленную голову на длинный шест и выставляют для «Зверя». «Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь! Зверя прикончь!» — этот воинственный клич теперь всё чаще слышится над прежде необитаемым островом. Ритуальные танцы, жертвопри-

ношения, жестокость и суеверие — ребята сами не замечают, как из маленьких английских джентльменов и в самом деле превращаются в дикарей, кровожадных и безрассудных. Забивая дикого кабана, они заодно наподдают и подвернувшемуся под руку Роберту, который не в силах защищаться от всех сразу.

Наконец ребята разделяются. Те мальчики, что пошли за Джеком, перестали следить за костром, раскрасили тела глиной, подобно индейцам, и стали проводить целые дни на охоте. Меньшая часть — Ральф, Саймон, Хрюша, близнецы Эрик и Сэм — по-прежнему не теряла надежды дожждаться взрослых и спастись с ними.

Писателю важно показать, что детская культура, как ни странно, сродни первобытной. Пока человек взрослеет, он проходит все стадии, через которые в своём становлении прошла современная цивилизация. Некоторым удаётся это сделать, и они обретают благородную рассудительность и жизненную устойчивость. Иные же уступают, и заканчивается это либо преступлением, либо трагедией. Оказываясь вне цивилизации, человек придумывает себе религию, начинает верить даже в насаженную на палку свиную голову. Оставаться людьми при самых невероятных, диких обстоятельствах — трудная, но благородная работа. Однако писатель не навязывает своего мнения. Он только разворачивает сюжет перед читателями. Мы редко слышим голос повествователя, его комментарии. Перед читателем — поступки и характеры. Он и должен дать им оценку.

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ

Главы из романа

Перевод Е. А. Суриц

Глава восьмая. ДАР ТЬМЕ

Хрюша перевёл несчастный взгляд с рассветно-бледного берега на чёрную гору.

- Ты это точно? То есть наверняка?
- Я тебе повторяю десятый раз, — сказал Ральф. — Мы его видели.
- А сюда-то он не придёт?
- Господи, да откуда же я знаю?

Ральф дёрнулся, отвернулся и на несколько шагов отбежал от него по берегу. Джек на коленках чертил пальцем круги на песке. До них долетел сдавленный голос Хрюши:

— Так это точно? Наверняка?

— А ты поди да посмотри, — сказал Джек презрительно. — Скатертью дорожка.

— Нет уж, спасибо.

— У зверя зубы, — сказал Ральф, — и большие чёрные глаза.

Его передёрнуло. Хрюша снял очки и стал протирать единственное стёклышко.

— Что ж теперь делать-то?

Ральф повернулся к площадке. Среди стволов, белой каплей против занимавшейся зари, мерцал рог. Ральф откинул космы со лба.

— Не знаю.

Он не забыл, как мчался сломя голову с горы.

— По-моему, мы с такой громадиной драться не станем, это уж точно. Мы только всё болтаем, а мы и на тигра не пойдём. Спрячемся. Даже Джек спрячется.

Джек не отрывал глаз от песка.

— А как насчёт моих охотников?

Саймон крадучись отделился от тени под шалашом. Ральф оставил без внимания вопрос Джека. Он показал рукой на жёлтый просвет над морем.

— Пока светло, мы ещё храбрые. Ну а дальше что? Он там засел у костра, будто нарочно, чтоб нас не спасли...

Он не замечал, что ломает руки. Голос сорвался на крик:

— Мы остались без сигнала... Пропали.

Золотая точка высунулась из-за моря и разом подпалила небо.

— А как насчёт моих охотников?

— Подумаешь, мальчишки, вооружённые палками.

Джек вскочил на ноги. И, весь красный, зашагал прочь. Хрюша надел очки и сверкнул на Ральфа единственным стёклышком.

— Ну вот. Ихнюю компанию задел.

— Да помолчи ты!

Разговор оборвали неумело извлекаемые звуки рога. Словно встречая серенадой восход, Джек дул, пока не всполошил в шалашах всех, и к площадке устремились охотники и хлюпающие, как всегда они те-

перь хлюпали, малыши. Ральф покорно встал, Хрюша тоже, и они побрели к площадке.

— Болтовня, — сказал Ральф горько. — Одна болтовня.

Он взял у Джека рог.

— Это собрание...

Джек его оборвал:

— Я созвал собрание.

— Не ты, так я бы. Ты просто в рог подул.

— А это как — не считается?

— Да возьми ты его. На, пожалуйста — говори-говори!

Ральф сунул рог Джеку и сел на своё место.

— Я созвал собрание, — сказал Джек, — из-за разных вещей. В первых, вы уже знаете, мы видели зверя. Мы забрались на вершину. В нескольких шагах от него были. Он сидел и на нас смотрел. Не знаю, что он там делает. Мы даже не знаем, что это за зверь...

— Он выходит из моря...

— Из темноты...

— С деревьев спускается...

— Да замолчите вы! — крикнул Джек. — Слушайте меня! Зверь, какой бы ни был, сидит наверху и...

— Может, ждёт...

— Может, на нас охотится...

— Да, охотится.

— Охотится, — сказал Джек. Он вспомнил не раз испытанный лесной первобытный ужас. — Да. Зверь этот — охотник. Нет, пока помалкивайте! Во-вторых, убить его нам не удалось. И в-третьих, Ральф сказал, что от моих охотников никакого толка.

— Не говорил я ничего подобного!

— Рог у меня. Ральф считает, что вы трусы, удираете от кабана и от зверя. И это ещё не всё.

Вздых пронёсся над площадкой, будто все чувствовали, что сейчас будет. Голос Джека, срывающийся, но решительный, разбивал настоленную тишину:

— Он как Хрюша. Всё повторяет за Хрюшей. Не ему нами командовать.

Джек прижал к груди рог:

— Сам он трус.

Мгновение помолчал и добавил:

— Там наверху мы с Роджером пошли вперёд, а он остался.

— Я тоже пошёл!

— Потом уже.

Двое мальчиков смотрели друг на друга сквозь нависшие космы.

— Я пошёл, — сказал Ральф. — Я уже потом убежал. Но ведь ты сам тоже убежал.

— А ты скажи, что я трус, — попробуй. — Джек повернулся к охотникам: — Он не охотник. Разве он добывал нам мясо? Он не староста, мы про него вообще ничего не знаем. Только и умеет приказы отдавать, а люди, видите ли, должны ему подчиняться. Вся эта болтовня...

— Вся эта болтовня? — крикнул Ральф. — Болтовня? А кто её затеял? Кто созвал собрание?

Джек, весь красный, набычась, упёршись в грудь подбородком, злобно глянул на него исподлобья.

— Ну, ладно, — процедил он многозначительно, с угрозой, — ладно же.

Прижал к себе рог левой рукой, а правым указательным пальцем рассёк воздух:

— Кто считает, что Ральф недостоин быть главным?

Он с надеждой обвёл всех глазами. Они замерли. Под пальмами стояло мёртвое молчание.

— Поднимите руки, — сказал Джек строго, — кто за то, чтобы Ральф больше не был главным.

Длилось молчание — тяжкое, стыдное, густое. Щёки Джека постепенно бледнели, потом, вдруг, в них снова ударила краска. Он облизнул губы и так повернул голову, чтоб ни с кем не встречаться взглядом.

— Кто считает...

Голос сорвался. Рог заплесал в руках. Джек откашлялся и сказал громко:

— Ну что ж, ладно.

Очень осторожно он положил рог на траву у своих ног. Из обоих глаз выкатилось по постыдной слезинке.

— Я с вами больше не вожусь. Всё.

Большинство потупились — разглядывали траву, свои ноги. Джек снова откашлялся.

— Хватит, больше я Ральфу не слуга.

Он кинул взглядом по брёвнам справа, подсчитывая охотников, прежде составлявших хор.

— Я ухожу. Один. Пускай он сам свиней половит. Кто захочет охотиться вместе со мной — пожалуйста.

И, натыкаясь на брёвна, бросился к спуску на белый песок.

— Джек!

Джек оглянулся, посмотрел на Ральфа. Мгновение постоял, застыв, и крикнул пронзительно, бешено:

— Нет!

Спрыгнул с площадки и побежал по берегу, не замечая катящихся слёз. И, пока он не скрылся в лесу, Ральф смотрел ему вслед.

Хрюша был вне себя.

— Ну, Ральф же, я говорю, а ты стоишь, как...

Тихо, глядя на Хрюшу и не видя его, Ральф сам с собой говорил:

— Он ещё вернётся. Солнце зайдёт, и он вернётся. — И тут он увидел рог в руках у Хрюши.

— Ты чего?

— Ну так вот...

Хрюша оставил попытку урезонить Ральфа. Прочистил стёклышко и вернулся к своей речи:

— Обойдёмся и без Джека Меридью. И другие у нас на острове найдутся. Но раз уж зверь этот вправду есть, хоть мне чего-то не верится, нам всё равно надо держаться поближе к площадке, так что не больно он и нужен теперь со своей охотой. Ну, и нам, значит, надо решить, что делать.

— Ничего мы не решим, Хрюша. Ничего нельзя сделать.

Все горестно примолкли. Потом Саймон встал и взял у Хрюши рог, и тот так удивился, что даже не сел. Ральф посмотрел на Саймона.

— Саймон? Ну что у тебя опять?

Лёгкий смешок пронёсся по кругу, и Саймон съёжился.

— По-моему, что-то можно сделать. Нам...

Снова под грузом публичности ему изменил голос. Он поискал взглядом сочувствия и выбрал лицо Хрюши. И повернулся к нему, прижимая к смуглой груди рог.

— По-моему, надо подняться на гору.

По кругу прошла дрожь. Саймон осёкся. Хрюша смотрел на него с насмешливым недоумением.

— Зачем же туда подниматься к этому зверю, если уж Ральф и те двое ничего ему сделать не смогли?

Саймон в ответ шепнул:

— Что же можно ещё сделать?

На этом речь его окончилась, и Хрюша взял рог у него из рук. И Саймон сел в самом дальнем уголке.

Хрюша теперь заговорил уверенней и таким тоном, который, будь обстоятельства чуть полегче, все сочли бы даже довольным.

— Я, значит, уже сказал — мы без кой-кого обойдёмся. И ещё скажу — надо решать, как нам быть. И я, по-моему, знаю, чего Ральф нам сейчас скажет. Самое главное на острове — это дым, а дыма без огня не бывает.

Ральф нетерпеливо дёрнулся:

— Без толку, Хрюша. Костра у нас нет. Там оно сидит. А нам надо тут оставаться.

Хрюша поднял рог, как будто его словам тем самым прибавлялось значительности.

— Костра нет — на горе. А что плохого будет, если мы его тут разожжём? Вон на тех на скалах. Или на песке прямо. Дым-то от него небось точно такой же.

— Верно!

— Будет дым!

— Можно у бухты!

Все заговорили разом. Только у Хрюши могло хватить дерзости ума на то, чтоб предложить новый костёр — на берегу.

— Ну да, разожжём костёр здесь, — сказал Ральф. Он огляделся. — Прямо тут — между площадкой и бухтой. Хотя, конечно...

Он осёкся и нахмурился, размышляя и в забывчивости обгрызая ноготь.

— Конечно, дым этот будет ниже, не так далеко виден. Зато нам не придётся подходить близко. Близко к... ну...

Все сразу поняли и закивали. Да, близко подходить не придётся.

— Что ж, давайте разводить костёр.

Всё гениальное просто. Обретя цель, за работу взялись со страстью. Хрюша так ликовал, так наслаждался освобождением от Джека, так гордился своим вкладом в общее дело, что помог таскать топливо.

<...>

Очень далеко Джек стоял на берегу перед группкой мальчиков. Он ликовал.

— Охотиться будем! — сказал он. Он окинул их взглядом. На всех были изодранные чёрные шапочки, и когда-то давным-давно они стаивали двумя чинными рядами, и голоса их были как пение ангелов.

— Будем охотиться. Я буду главным.

Они покивали ему, и сразу всё стало легко и понятно.

— И ещё — насчёт этого зверя.

Все оглянулись и посмотрели на лес.

— Значит, так. Про зверя нам нечего думать...

Теперь уж ему пришлось им покивать в подкрепление своих слов.

— Зверя надо забыть.

— Правильно.

— Ага.

— Забыть его!

Если Джека и удивила эта готовность, виду он не подал.

— И ещё одно. Тут нам мерещиться не будет всякое. Тут почти самый конец острова.

Горячо и дружно, из глубины своих тайных мучений, все согласились с Джеком.

— А теперь вы все — слушай. Потом мы, наверно, пойдём в этот замок — в скалах. Но сначала мне надо ещё кое-кого из старших отвлечь от рога и всяких глупостей. Убьём свинью, закатим пир. — Он помолчал и продолжил, уже с расстановкой: — И насчёт зверя. Как убьём свинью, мы часть добычи ему оставим. Тогда он, может, нас и не тронет.

Вдруг он вытянул шею:

— Ладно. Пошли охотиться в лес.

Повернулся и затрусил прочь, и они сразу послушно за ним последовали.

Боязливо озираясь, они рассыпались по лесу. Джек почти тотчас наткнулся на взрытую землю и выдернутые корни — улики против свиней — и тут же вышел на свежий след. Он дал всем сигнал — обождать, а сам двинулся вперёд. Он был счастлив, сырая лесная мгла облегла его, как ношенная рубашка. Он скользнул вниз по склону и вышел на каменный берег, к редким деревьям.

Свиньи, вздутыми жировыми пузырями, валялись под деревьями, блаженствуя в тени. Ветра не было; они ни о чём не подозревали; а Джек научился скользить бесшумно, как тень. Он вернулся к затаив-

шимся охотникам и подал им знак. Дюйм за дюймом они стали пробираться в немой жаре. Вот в тени под деревом праздно хлопнуло ухо. Чуть поодаль от других в сладкой истоме материнства лежала самая крупная матка. Розовая, в чёрных пятнах. К большому, взбухшему брюху прильнули поросята, они спали или теребили её и повизгивали.

Ярдах в пятнадцати от стада Джек замер; вытянул руку, указывая на матку. Оглянулся, вопросительно оглядел мальчиков, и те закивали в знак того, что им всё понятно. Правые руки скользнули назад — дружно, разом.

— Ну!

Свиньи сорвались с места; и всего с десяти ярдов закалённые в костре деревянные копыя полетели в облюбованную матку. Один поросёнок, одержимо вопя, кинулся в море, волоча за собой копьё Роджера. Матка взвизгнула, зашлась и встала, качаясь, тряся воткнувшимися в жирный бок двумя копыями. Мальчики заорали, метнулись вперёд, поросята бросились врассыпную, свинья прорвала теснящий строй и помчалась в лес, напролом, через заросли.

— За ней!

Они затрусили по лазу, но тут было слишком темно и густо, так что Джек выругался, остановил их, стал ползать по земле. Он молчал, только дышал с присвистом, и все запуганно, уважительно переглядывались. Вдруг он ткнул в землю пальцем.

— Ага, вот...

Пока все разглядывали кровавую каплю, Джек уже ощупывал сломанный куст.

И вот он пошёл по следу, непостижимо и безошибочно уверенный; за ним потянулись охотники.

Возле логова он остановился:

— Тут она.

Логово окружили, но свинья вырвалась и помчалась прочь, ужаленная ещё одним копьём. Палки волочились, мешали бежать, в боках, мучая, засели зазубренные острия. Вот она налетела на дерево, всадила одно копьё ещё глубже. И после этого уже ничего не стоило выследить её по каплям свежей крови. День шёл к вечеру, мутный, страшный, набрякший сырым жаром; свинья, шатаясь, затравленно кровотока, пробиралась сквозь заросли, и охотники гнались за ней, прикованные к ней страстью, задыхаясь от азарта, от запаха крови. Вот они уже увидели её, почти настигли, но она рванулась из послед-

них сил и снова ушла. Они были совсем близко, когда она вырвалась на лужайку, где росли пёстрые цветы и бабочки плясали в застывшем зное.

Здесь, сражённая жарой, свинья рухнула, и охотники на неё набросились. От страшного вторжения неведомых сил она обезумела, завизжала, забилась, и всё смешалось — пот, крик, страх, кровь. Роджер метался вокруг общей свалки, тыча копьём в мелькавшее то тут, то там свиное мясо. Джек оседлал свинью и добивал её ножом. Роджер наконец нашёл, куда воткнуть копьё, и вдавливал, навалился на него всем телом. Копьё дюйм за дюймом входило всё глубже, и перепуганный визг превратился в пронзительный вопль. Джек добрался до горла, и на руки ему брызнула горячая кровь. Свинья обмякла под ними, и они лежали на ней, тяжёлые, удовлетворённые. А в центре лужайки всё ещё плясали ничего не заметившие бабочки.

Наконец все очнулись и отвалились от туши. Джек встал, раскинул руки:

— Глядите.

Он хихикал, махал пропахшими ладонями, а все хохотали. Потом Джек схватил Мориса и мазнул его кровавой ладонью по лицу. Роджер начал вытаскивать копьё, и только тогда все вдруг его увидели. Роберт подвёл общий итог фразой, встретившей бурный восторг.

— В самую задницу!

— Слыхали?

— В самую задницу!

На сей раз весь спектакль играли Роберт и Морис; и Морис так смешно изображал попытки свиньи увернуться от приближающегося копья, что все ревели от хохота.

Но приелось и это. Джек принялся вытирать окровавленные руки о камень. Потом стал разделявать тушу, потрошил, выуживал горячие мотки цветных кишок, швырял наземь, а все на него смотрели. Он работал и приговаривал:

— Мясо пронесём по берегу. А я пока вернусь на площадку и приглашу их на пир. Чтобы времени не терять.

Роджер сказал:

— Вождь...

— А?

— Как мы огонь разведём?

Джек опять сел на корточки, хмуро глянул на свинью.

— Налетим на них и возьмём огня. Со мной пойдут четверо. Генри, и ты, и Роберт, и Морис. Раскрасимся и подкрадёмся. Пока я буду с ними говорить, Роджер схватит головню. Остальным всем — возвращаться на наше прежнее место. Там и разведём костер. А потом...

Он умолк и поднялся, вглядываясь в тени под деревьями. И снова заговорил, уже тише:

— Но часть добычи оставим для...

Снова он опустился на колени и что-то стал делать ножом. Его обступили.

Он кинул через плечо Роджеру:

— Заточи-ка с двух концов палку.

Он поднялся, в руках у него была свиная голова, и с неё капали капли.

— Ну, где палка?

— На — вот.

— Один конец воткни в землю. Ах да — камень. Ну в щель всади. Ага, так.

Джек поднял свиную голову и наткнул мягким горлом на острый кол, и кол вытолкнулся, высунулся из пасти. Джек отпрянул, а голова осталась на палке, и по палке тонкой струйкой стекала кровь.

Все тоже отпрянули; а в лесу было тихо-тихо. Они вслушались; в тишине только исходили жужжанием обсевшие кишки мухи.

Джек сказал шёпотом:

— Берите свинью.

Морис и Роберт насадили тушу на жердь, подняли мёртвый груз, выпрямились. Стоя среди этой тишины в луже запёкшейся крови, они выглядели почему-то как уличные воры.

Джек сказал громко:

— Голова — для зверя. Это — дар.

Тишина, вгоняя их в трепет, дар приняла. Голова торчала на палке, мутноглазая, с ухмылкой, и между зубов чернела кровь. И вдруг со всех ног они бросились через заросли на открытый берег.

Саймон остался, где был, — тёмная, скрытая листвой фигурка. Он жмурился, но и тогда свиная голова всё равно стояла перед ним. Прикрытые глаза были заволочены безмерным цинизмом взрослой жизни. Они убеждали Саймона, что всё омерзительно.

— Я и сам знаю.

Саймон поймал себя на том, что говорит вслух. Он поскорей открыл глаза, и свиная голова тут как тут усмехалась, довольная, облитая странным светом, не замечая бабочек, вынутых кишок, не замечая того, что она позорно торчит на палке.

Он отвёл взгляд, облизал сухие губы.

Дар зверю. А вдруг зверь явится за ним? Кажется, голова с этим соглашалась. «Беги, — говорила голова молча, — иди к своим. Ну да, они просто пошутили, и стоит ли из-за этого огорчаться? Просто тебе нехорошо, только и всего. Ну, в висках ломит, может, что-то не то съел. Иди, иди, детка», — говорила голова молча.

Саймон поднял лицо, из-под тяжёлых мокрых прядей посмотрел в небо. Там наконец были тучи, большими вспученными башнями они катили над островом — серые, розовые, цвета меди. Тучи наваливались на землю; они выжимали, выдавливали от минуты к минуте всё более душный, томительный жар. Даже бабочки и те покинули лужайку, где капала кровью и усмехалась эта гадость.

Саймон опустил голову, стараясь не разжимать век, потом прикрыл глаза ладонью. Под деревьями не было теней, и всё застыло и подёрнулось перламутром, будто, сбросив с себя очертания, вдруг перенеслось в вымысел. Над чёрным комом кишок, как пила, жужжали мухи. Вот они обнаружили Саймона.

Сытые, они обсели струйки пота у него на лице и стали пить. Они щекотали ему ноздри, у него на ногах они затеяли чехарду. Чёрные, радужно-зелёные, несчётные; а прямо против Саймона ухмылялся насаженный на кол Повелитель мух. Наконец Саймон не выдержал и посмотрел: увидел белые зубы, кровь, мутные глаза — и уже не смог отвести взгляда от этих издревле неотвратимо узнающих глаз. В правом виске у Саймона больно застучало.

Ральф и Хрюша лежали на песке, смотрели на костёр и праздно швыряли камешки в его бездымную сердцевину.

— Эта ветка — уже всё.

— Где Эрикисэм¹?

— Надо ещё принести. Кончились зелёные ветки.

¹ *Эрикисэм* — два близнеца. Они всегда вместе, поэтому их и называют в романе одним словом.

Ральф вздохнул и поднялся. Под пальмами на площадке не было теней; и странный свет бил сразу отовсюду. В вышине по вспученным тучам ружейным выстрелом ухнул гром.

— Дождь будет проливной.

— А костёр как же?

Ральф сбегал в лес, принёс зелёную пышную ветку и бросил в огонь. Ветка хрустнула, листья скрутились, и повалил жёлтый дым.

Хрюша бесцельно водил пятернёй по песку.

— Народу у нас мало для костра, вот беда. Эрикисэм — это ж одно дежурство. Они всё вместе делают...

— Ну да.

— Это ж нечестно. Понимаешь? Они по очереди должны дежурить.

Ральф подумал и понял. Он лишний раз убедился, что совершенно не умеет рассуждать по-взрослому, и печально вздохнул. Этот остров всё меньше ему нравился.

Хрюша глянул на костёр.

— Скоро ещё зелёная ветка понадобится.

Ральф перевернулся на живот.

— Хрюша, что же нам делать?

— Ну, как-то справляться без них.

— Да — а костёр?

Он хмуро оглядел чёрно-белое месиво, в котором лежали несгоревшие ветки. Поискал слов:

— Я боюсь...

Увидел, что Хрюша поднял на него глаза, и понёс наудачу:

— Я не зверя боюсь. То есть его тоже, конечно. Но ведь никто не хочет понять насчёт костра. Если б тебе бросили верёвку, когда ты тонешь... Или доктор бы сказал: надо это принять, а то умрёшь — неужели бы ты не принял? Ведь же принял бы?

— Ясное дело, принял бы.

— Неужели им непонятно? Ну скажи? Ведь без сигнала мы все тут умрём! Посмотри-ка!

Над золой зыбились горячие струйки — слюдяные, прозрачные. Дыма больше не было.

— Мы не можем поддерживать костёр. А им всё равно. И даже... — он заглянул в потное Хрюшино лицо, — даже мне иногда всё равно. Ну вот возьму я и на всё плюну. Что же с нами тогда будет?

Хрюша в смятении снял очки.

— Не знаю я, Ральф. Надо держаться, и точка. Взрослые бы держались.

Ральф, начав облегчать свою душу, уже не мог остановиться:

— Хрюша, за что?

Хрюша посмотрел на него удивлённо:

— Ты это насчёт... ну...

— Да нет... я вообще... почему у нас всё так плохо?

Хрюша долго тёр очки и думал. Когда он понял всю степень доверия Ральфа, он вспыхнул от гордости.

— Не знаю, Ральф. Наверно, он виноват.

— Джек?

— Джек. — Вокруг этого слова уже тоже витало табу.

Ральф веско кивнул.

— Да, — сказал он, — возможно, всё из-за него.

Лес разразился рёвом; бесноватые с красно-бело-зелёными лицами выскочили из кустов, голося так, что малыши с воплями разбежались. Краешком глаза Ральф увидел, как спасается Хрюша. Двое бросились к костру. Ральф приготовился защищаться, но они схватили полуобгоревшие ветки и помчались по берегу. Трое других остались, стояли и смотрели на Ральфа; и он понял, что самый высокий, весь голый, только краска да пояс, — Джек.

Ральф перевёл дух и сказал:

— Ну?

Джек не ответил, поднял копьё и заорал:

— Слушай — вы все! Я и мои охотники живём у плоской скалы на берегу. Мы охотимся, мы пируем, нам весело. Кто хочет присоединиться к моему племени — приходите. Может, я вас и оставлю у себя. А может, и нет.

Он умолк и огляделся. Маска спасала от стыда и неловкости. Он каждому заглянул в лицо. Ральф стал на колено у костра, как спринтер перед стартом, и лицо его скрывали волосы и грязь. Близнецы выглядывали из-за пальмы на краю леса. Возле бухты малыш зашёлся плачем, а Хрюша стоял на площадке, прижимая к груди белый рог.

— Сегодня мы пируем. Мы убили свинью, у нас есть мясо. Если хотите, можете угоститься.

В вышине из облачных каньонов снова бабахнул гром. Джек и двое неопознанных дёрнулись, задрали головы и сразу успокоились. Всё ры-

дал малыш у бухты. Джек ещё чего-то ждал. Потом нетерпеливо шепнул дикарям:

— Ну, давайте!

Те зашептали в ответ, но Джек оборвал их:

— Ну!

Дикари переглянулись, оба разом подняли копыя и хором сказали:

— Вы слушали Вождя.

И все трое повернулись и затрусили прочь.

Тогда Ральф встал и посмотрел туда, где исчезли дикари.

Эрик и Сэм подходили, шепча испуганно:

— Я уж думал, это...

— Ой, и я так...

— ...испугался.

Хрюша стоял наверху, на площадке, и прижимал к груди рог.

— Это Джек, Морис и Роберт, — сказал Ральф. — Неужели им весело?

— Я думал, сейчас начнётся астма.

— Слыхали про твою какассыму.

— Я как увидел Джека, сейчас решил, что он за рогом пришёл. Даже не знаю почему.

Мальчики посмотрели на рог с нежной почтительностью. Хрюша положил его на руки Ральфу, и малыши, видя привычный символ, заспешили обратно.

— Нет, не тут.

Ральф взойшёл на площадку, чтобы соблюсти ритуал.

Он пошёл впереди, как ребёнка, неся рог, потом очень серьёзный Хрюша, потом близнецы, малыши и те, кто ещё остался.

— Сядьте все. Они на нас напали из-за огня. Им весело. Только...

И тут мысли Ральфа заслонило завесой. Он что-то хотел сказать, и вдруг эта завеса...

— Только...

Все смотрели на него, очень серьёзно, пока ещё не омрачённые никакими сомнениями в том, не зря ли его выбрали. Ральф отвёл от глаз эти дурацкие патлы и глянул на Хрюшу.

— Только... Ах, ну да, костёр! Ну конечно!

Он засмеялся, осёкся, потом, наоборот, очень гладко заспешил:

— Костёр — это главное. Без костра нас не могут спасти. Я и сам бы с удовольствием размалевался и стал дикарём. Но нам надо поддержи-

вать костёр. Костёр — самое главное на острове, потому что, потому что...

Снова он умолк, и в наставшей тишине было теперь недоумение, сомнение.

Хрюша шепнул с нажимом:

— Без костра нас не спасут.

— Ах да. Без костра нас не спасут. Так что надо следить за костром и чтобы всё время был дым.

Он умолк, и никто не сказал ни слова. После множества пламенных речей, произнесённых на этом самом месте, выступление Ральфа даже малышам показалось неубедительным.

Наконец за рогом потянулся Билл:

— Ну, мы не можем жечь костёр наверху... потому что... мы не можем жечь костёр наверху. И нам людей не хватает. Давайте пойдём к ним на их этот пир и скажем, что нам с костром, значит, не справиться. А вообще-то охотиться и всякое такое, ну, дикарями быть и вообще, наверное, адски интересно.

Рог взяли близнецы:

— Наверно, и правда интересно, как вот Билл говорит... и он же нас пригласил...

— ...на пир...

— ...мясо есть...

— ...поджаристое...

— ...мясо бы я с удовольствием...

Ральф поднял руку:

— Может, лучше самим мясо добывать?

Близнецы переглянулись. Билл ответил:

— Нет, не пойдём мы в джунгли эти.

Ральф скривил губы:

— Он, между прочим, ходит.

— Он охотник. Они все вообще охотники. Это разница.

Помолчали, потом Хрюша бормотнул, глядя в песок:

— Мясо — это да...

Малыши сидели, страстно думая о мясе и глотая слюнки. В вышине опять бабахнула пушка, и на горячем ветру заколотились сухие листья пальм.

— Глупый маленький мальчик, — говорил Повелитель мух, — глупый, глупый, и ничего-то ты не знаешь.

Саймон шевельнул вспухшим языком и ничего не сказал.

— Что, неправда? — говорил Повелитель мух. — Разве ты не маленький, разве ты не глупый?

Саймон отвечал ему так же молча.

— Ну и вот, — сказал Повелитель мух, — беги-ка ты к своим, играй с ними. Они думают, что ты чокнутый. Тебе же не хочется, чтоб Ральф считал тебя чокнутым? Ты же очень любишь Ральфа, правда? И Хрюшу, и Джека — да?

Голова у Саймона чуть запрокинулась. Глаза не могли оторваться от Повелителя мух, а тот висел прямо перед ним.

— И что тебе одному тут делать? Неужели ты меня не боишься?

Саймон вздрогнул.

— Никто тебе не поможет. Только я. А я — Зверь.

Губы Саймона с трудом вытолкнули вслух:

— Свиная голова на палке.

— И вы вообразили, будто меня можно выследить, убить? — сказала голова. Несколько мгновений лес и все другие смутно угадываемые места в ответ сотрясались от мерзкого хохота. — Но ты же знал, правда? Что я — часть тебя самого? Неотделимая часть! Что это из-за меня ничего у вас не вышло? Что всё получилось из-за меня?

И снова забился хохот.

— А теперь, — сказал Повелитель мух, — иди-ка ты к своим, и мы про всё забудем.

Голова у Саймона качалась. Глаза прикрылись, словно в подражание этой пакости на палке. Он уже знал, что сейчас на него найдёт. Повелитель мух взбухал, как воздушный шар.

— Просто смешно. Сам же прекрасно знаешь, что там, внизу, ты со мною встретишься, — так чего же ты?

Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух заговорил, как учитель в школе:

— Всё это слишком далеко зашло. Бедное, заблудшее дитя, неужто ты считаешь, что ты умней меня?..

Молчание.

— Я тебя предупреждаю. Ты доведёшь меня до безумия. Ясно? Ты нам не нужен. Ты лишний. Понял? Мы хотим позабавиться здесь на острове. Понял? Мы хотим здесь, на острове, позабавиться. Так что не упрямясь, бедное, заблудшее дитя, а не то...

Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасти была чернота, и чернота расширялась.

— А не то, — говорил Повелитель мух, — мы тебя прикончим. Ясно? Джек, и Роджер, и Морис, и Роберт, и Билл, и Хрюша, и Ральф. Прикончим тебя. Ясно?

Пасть проглотила Саймона. Он упал и потерял сознание.

Глава девятая. ЛИЦО СМЕРТИ

Над островом гудели тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на десять тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили чёрно-белые тучи. Только мухам всё это было нипочём, они вытемнили своего повелителя, а сваленные кишки из-за них сделались похожи на груды блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтядохлый дух свинины.

Кровь носом принесла облегчение, припадок Саймона перешёл в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день напал вечер и вверху громыло. Наконец он проснулся и смутно различил тёмную землю у себя под щекой. Он ещё полежал немного, не шевелясь и уставясь прямо перед собой невидящим взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвились, гнусно ноя, и тотчас снова обсели падаль. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как чёрный мяч.

Саймон вслух спросил лужайку:

— Что же можно ещё сделать?

Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брёл между стволов, и лицо было лишено выражения, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал.

Наконец лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова, земля слегка выгибалась, шла на подъём к горе и не так непролазны были джунгли. Заросли и чащоба то и дело перемежались прогалинами, Саймон брёл по подъёму,

и скоро деревья расступились перед ним. Он пошёл дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сияния. Он продвигался вперёд с унылой сосредоточенностью, как старик.

Но вот ветер чуть не сшиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным, большим небом. У него были ватные ноги и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось, синий сполох пробежался по чёрной туче. Саймон заставил себя снова идти вперёд, и ветер налетел снова, ещё сильнее, он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то скорченный на вершине выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошёл вперёд.

Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они взвивались над его головой тёмной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжело кланялся, и мухи снова облепляли голову.

Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он всё понял. Путаница верёвок открыла ему механику зловещего действия; он увидел белую носовую кость, зубы цвета тления. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно дохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра.

Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костёр на площадке, кажется, погас, во всяком случае, дыма не было. Дальше по берегу, за речушкой, рядом с плоской скалой робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может, и все мальчики — там. Значит, перебрались — подалее от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток; об этом надо было скорей сообщить всем. Саймон бросился вниз, у него подкашивались ноги, он заставлял себя идти, но ковылял кое-как.

— Ну, давай купаться, — сказал Ральф, — больше делать нечего.

Хрюша обзирал хмурое небо сквозь покалеченные очки.

— Не нравятся мне тучи эти. Помнишь, как лило, когда мы высадились?

— И опять польёт.

Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаюсь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю.

— Ты лучше не надо. Из-за очков. А то если ты на них попадёшь, мне сразу вылезать придётся, чтоб их вытереть.

Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде.

— Хватит тебе! — заорал он. — Слышь, что ли?

И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо.

— Ну, ладно, ладно, — сказал Ральф. — Ты только не бесись.

Хрюша перестал колотить по воде руками.

— У меня голова болит. Хорошо бы похолодало.

— Хорошо бы дождь.

— Хорошо бы домой.

Хрюша снова улёгся на пологий песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлой прорехи между туч можно было угадать, куда ползёт солнце. Ральф стал на колени в воде и посмотрел кругом.

— А где же все?

Хрюша сел.

— Может, в шалашах лежат.

— Где Эрикисэм?

— И Билл?

Хрюша показал за площадку.

— Они вон туда пошли. К Джеку подались.

— Ну и пусть, — выдавил Ральф. — Мне-то что...

— Это они мяса чтоб покушать...

— И чтоб охотиться, — сказал Ральф жёстко, — и дикарей изображать, и лица размалёвывать.

Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа.

— Может, и нам туда податься?

Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел.

— Ну... то есть на всякий случай, чтоб там не вышло чего.

Ральф снова пустил в небо водную струю.

Не доходя до лагеря Джека, ещё издали, Ральф и Хрюша услышали шум пира. Между лесом и берегом, под пальмами, была травянистая полоса. Всего на шаг вниз от неё начинался белый, нанесённый приливами песок, тёплый, сухой, гладкий. Ещё ниже была скала, она тянулась к лагуне. Под скалой, уже у самой воды, снова был маленький пляж. На скале горел костёр, и со свиного мяса жир капал в невидимое пламя. На траве собрались все, кто только был на острове, кроме Саймона, Ральфа и Хрюши, да ещё двоих, занятых жаркой. Хохотали, пели, валялись, сидели, стояли — и все держали мясо в руках. Судя по лицам, испачканным жиром, пир подходил к концу, и кое-кто уже прихлёбывал воду из кокосовых скорлуп. Ещё до начала пира в центр лужайки приволокли большое бревно, и Джек, размалёванный, в венке, теперь сидел на нём, как идол. Перед ним на зелёных листьях были груды мяса и фрукты, а в кокосовых скорлупах — питьё.

Хрюша с Ральфом подошли к краю травянистой лужайки; замечая их, мальчики один за другим умолкали, пока не остался только тот, что стоял рядом с Джеком. Наконец и тот умолк, и тогда Джек повернулся. Он смотрел на них. Треск огня был единственным звуком, поднимавшимся над ровным рокотом моря. Ральф отвёл от него глаза; Сэм, решив, что это Ральф смотрит на него с укором, нервно хихикнул и сунул в траву обглоданную кость. Ральф неуверенно шагнул, показал на пальму, что-то неслышно шепнул Хрюше; оба хихикнули в точности как Сэм. И Ральф зашагал вперёд, высоко выбирая из песка ноги. Хрюша пытался насвистывать.

Тут мальчики, жарившие мясо, как раз отделили большой кусок и побежали к лужайке. Они наткнулись на Хрюшу, обожгли, и Хрюша взвыл и стал приплясывать. Тотчас Ральфа и всю толпу объединил взрыв веселья. Снова Хрюша сделался общим посмешищем, и, чувствуя себя нормальными, все радостно хохотали.

Джек встал и взмахнул копьём.

— Дать им мяса.

Те, кто держал вертел, дали Ральфу и Хрюше по сочному куску. Они приняли дар, истекая слюной. И стали есть, стоя под медью неба, звенящей о скорой буре.

Снова Джек взмахнул копьём.

— Все наелись досыта?

Мясо ещё оставалось, шипело на палках, громоздилось на зелёных тарелках. Жертва собственного желудка, Хрюша швырнул вниз, на берег, обглоданную кость и нагнулся за новым куском.

Джек снова спросил, уже резче:

— Все наелись досыта?

В тоне была угроза, гордость собственника, и мальчики стали глотать не прожёвывая. Поняв, что конца этому пока не предвидится, Джек поднялся с бревна, служившего ему треном, и прошествовал к краю травы. Сверху вниз он разглядывал из-за своей краски Ральфа и Хрюшу. Они немного поднялись по песку, и Ральф, обглаживая кость, смотрел на костёр. Он подсознательно отмечал, что пламя теперь уже видно на сером свету. Значит, пришёл вечер, но красоты и отрады он не принёс — только страх.

Джек сказал:

— Подайте мне пить.

Генри подал ему скорлупу, и он отпил из неё, глядя на Хрюшу и Ральфа из-за зубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, и власть улеглась ему на плечо, нащёптывая в ухо, как обезьяна.

— Всем сесть.

Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша стояли на мягком песке, футом ниже. Джек их не замечал и, склонившись маской к сидящим, ткнул в них копьём:

— Кто желает вступить в моё племя?

Ральф вдруг дёрнулся, подался вперёд, споткнулся. На него оглядывались.

— Я накормил вас, — сказал Джек. — А мои охотники вас защитят от зверя. Кто желает вступить в моё племя?

— Я главный, — сказал Ральф. — Вы же сами меня выбрали. И мы решили следить за костром. А вы погнались за едой.

— А ты не погнался? — крикнул Джек. — У самого в руках кость!

Ральф залился краской.

— На то вы и охотники. Это ваша работа.

Снова Джек перестал его замечать.

— Кто желает вступить в моё племя, развлечься?

— Я главный, — дрожащим голосом сказал Ральф. — И как же костёр? И у меня рог...

— Что-то ты его с собой не захватил, — сказал Джек и оскалился. — Небось там оставил, а? И вообще в этой части острова рог не считается.

Вдруг сверху ударил гром. Уже не прошёлся глухо, бабахнул взрывом.

— Рог и тут считается, — сказал Ральф, — и всюду на острове.

— Ну и что из этого? А?

Ральф оглядел ряды. Ни в ком не нашёл сочувствия и отвернулся, сконфуженный, потный. Хрюша шептал:

— Костёр — это наше спасение...

— Кто желает вступить в моё племя?

— Я.

— И я.

— И я.

— Я протрублю в рог и созову собрание, — задохнулся Ральф.

— А мы не услышим.

Хрюша тронул Ральфа за руку.

— Пошли. А то худо будет. И мы же ведь покушали уже.

За лесом полыхнула молния и громыхнуло так, что один малыш заплакал. Посыпались крупные капли, и слышно было, как плюхалась каждая.

— Будет буря, — сказал Ральф, — и дождь, как когда мы высадились. Ну, и кто же, интересно, умница? Где твои укрытия? Как ты без них обойдёшься?

Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все нелепо засуетились. Вспышки стали ярче, гром надрывал уши. Малыши с рёвом метались по траве.

Джек спрыгнул на песок.

— Танцевать! Ну! Наш танец!

И, спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу, где был костёр. Между вспышками было темно и страшно; все, голося, побежали за Джеком. Роджер стал свиньёй, хрюкнул, напал на Джека, тот увернулся. Охотники схватили копья, те, кто жарил, — свои вертела, остальные — обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер исполнял ужас свиньи, малыши прыгали вокруг участников представления. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию. Хотя бы дотронуться до коричневых спин, замыкающих в кольцо, укрощающих ужас.

— Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!

Кружение стало ритмичным, взбудораженное пение остыло, билось ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середина круга зияла пусто. Кто-то из малышей затеял собственный круг; и пошли круги, круги, будто это множество само по себе способно спасти и выручить. И был слаженный топот, биенье единого организма.

Мутное небо вспорол бело-голубой шрам. И тут же хлестнул грохот — как гигантским бичом. Пение исходило предсмертным ужасом:

— Зверя — бей! Глотку — режь! Выпусти — кровь!

Из ужаса рождалось желание — жадное, липкое, слепое.

— Зверя — бей! Глотку — режь! Выпусти — кровь!

Снова вымеился наверху бело-голубой шрам и грянул жёлтый взрыв. Малыши визжа неслись с опушки, один, не помня себя, проломил кольцо старших:

— Это он! Он!

Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то неясное, тёмное.

Впереди зверя катился надсадный вопль.

Зверь ввалился, почти упал в центр подковы.

— Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!

Голубой шрам уже не сходил с неба, грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про мёртвое тело на горе.

— Зверя — бей! Глотку — режь! Выпусти — кровь! Зверя — прикончь!

Палки стукнули, подкова, хрустнув, снова сомкнулась вопящим кругом. Зверь стоял на коленях в центре круга, зверь закрывал лицо руками. Пытаясь перекрыть дерущий омерзительный шум, зверь кричал что-то насчёт мертвеца на горе. Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы, на зверя налетели, его били, кусали, рвали. Слов не было, и не было других движений — только рвущие когти и зубы.

Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, холодным душем стегала бьющуюся в песке груду. Потом груды распалась, и от неё отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать — в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же он маленький, этот зверь; а на песке уже расплывались кровавые пятна.

Тут сильный ветер подсёк дождевые плети, погнал на лес, и деревья утонули в каскадах. На вершине горы парашют вздулся, стронулся с места; тот, кто сидел на горе, скользнул, поднялся на ноги, закружился, закачался в отсырелом просторе и, нелепо загребая мотающимися ногами по высоким верхушкам деревьев, двинулся вниз, вниз, вниз, и на берег, и мальчики, голоса, разбежались во тьме. Парашют потащил тело и, вспахав воды лагуны, швырнул через риф, в открытое море.

К полуночи дождь перестал, тучи унесло, и снова зажглись в небе немыслимые блёстки звёзд. Потом ветер улёгся, и стало тихо, только капли стучали, шуршали по расселинам и плюхались, скатываясь с листка на листок в тёмную землю острова. Воздух был прохладный, сырой и ясный; скоро утомилась и вода. Зверь лежал комочком на бледном песке, а пятна расплывались и расплывались.

Край лагуны стал полосой свечения, и, пока нарастал прилив, она напозла на берег. В ясной воде отражалось ясное небо и яркие угольники созвездий. Черта свечения взбухала, набегающая на песчинки и гальку, и, на мгновение дрогнув упругой рябью, тотчас глотала их неслышным глотком и продвигалась на берег дальше.

Наползающая на отмели ясность вод по кромке кишела странными лучистыми созданиями с горящими глазами. То и дело окатыш побольше, вдруг выделяясь из множеств, одевался жемчужным ворсом. Прилив ровнял взрытый ливнем песок, всё покрывая блестящей полудой. Вот вода коснулась первого пятна, натёкшего из разбитого тела, и создания бьющейся световой каймой собрались по краю. Вода двинулась дальше и одела жёсткие космы Саймона светом. Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными шлейфами суетились вокруг головы. Тело чуть-чуть поднялось на песке, изо рта, влажно хлопнув, вылетел пузырёк воздуха. Потом тело мягко качнулось и сползло в воду.

Где-то за тёмным краем мира были луна и солнце; силой их притяжения водная плёнка слегка взбухла над одним боком земной планеты, покуда та вращалась в пространстве. Большой прилив надвинулся дальше на остров, и вода ещё поднялась. Медленно, в бахромке любопытных блестящих существ, само — серебряный очерк под взглядом вечных созвездий, мёртвое тело Саймона поплыло в открытое море.

Глава десятая. РАКОВИНА И ОЧКИ

Хрюша внимательно вглядывался в того, кто подходил. Сейчас ему часто казалось, что видно лучше, если переставить стёклышко к другому глазу; но и без этого Ральфа, даже после всего случившегося, он бы ни с кем не спутал.

Он шёл от кокосовых пальм, грязный, прихрамывая, и сухие листья застряли в жёлтых спутанных волосах. Один глаз глядел щёлочкой из вспухшей щеки, и на правой коленке был большой струп. Он на мгновение застыл, вглядываясь в стоящего на площадке.

— Хрюша? Ты один?

— Ещё малыши кое-кто.

— Эти не в счёт. Старших нет?

— Ах да... Эрикисэм. Топливо собирают.

— Больше никого?

— Вроде нет.

Ральф осторожно влез на площадку. На месте прежних собраний была ещё примята трава; хрупкий белый рог ещё мерцал на отполированном сиденье. Ральф сел на траву лицом к рогу и к месту главного. Хрюша опустил на колени слева от него, и целую долгую минуту оба молчали.

Наконец Ральф откашлялся и что-то шепнул.

Хрюша спросил, тоже шёпотом:

— Ты чего?

Ральф сказал вслух:

— Саймон.

Хрюша ничего не сказал, только мрачно кивнул. Оба смотрели на место главного, на сверкающую лагуну, и всё расплывалось у них перед глазами. По грязным телам прыгал зелёный свет и блестящие зайчики.

Наконец Ральф встал и направился к рогу. Он ласково обхватил раковину и, став на колени, привалился к лежащему стволу.

— Хрюша.

— А?

— Что же делать?

Хрюша кивком показал на рог.

— Ты бы...

— Созвал собрание?

Сказав это, Ральф едко засмеялся, и Хрюша насупился.

— Всё равно ты же главный.

Ральф засмеялся снова.

— Ну да. Над нами-то ты же главный.

— У меня рог!..

— Ральф! Хватит тебе смеяться! Не надо так! Слышь? Ральф! Ну что другие подумают?

Наконец Ральф перестал смеяться. Он весь дрожал.

— Хрюша.

— А?

— Это был Саймон.

— Ты уже сказал.

— Хрюша.

— А?

— Это было убийство.

— Хватит тебе! — взвизгнул Хрюша. — Ну чего, зачем, какой толк это говорить?

Он вскочил на ноги, наклонился над Ральфом:

— Было темно. И был этот, ну, танец треклятый. И молния была, гром, дождь. Мы перепугались.

— Я не перепугался, — медленно выговорил Ральф. — Я... я даже не знаю, что со мной было.

— Перепугались мы! — горячо зашепел Хрюша. — Мало ли что могло случиться. И это совсем не... то, что ты сказал.

Он махал руками, подыскивая определение.

— Ох, Хрюша!

У Ральфа был такой голос, хриплый, убитый, что Хрюша сразу перестал махать. Он наклонился к Ральфу и ждал. Ральф, обнимая рог, раскачивался из стороны в сторону.

— Неужели ты не понимаешь, Хрюша? Что мы сделали...

— А вдруг он ещё...

— Нет.

— Может, притворился просто...

Хрюша взглянул в лицо Ральфу и осёкся.

— Ты стоял рядом. Ты не входил в круг. Ты в стороне стоял. Но разве ты не видел, — нет? — что мы... что они сделали?

В голосе было отвращение, тоска, но он и дрожал от напряжения:

— Ты не видел, Хрюша?

— Не очень я видел. Я ж одноглазый теперь. Пора бы запомнить, Ральф.

Ральф всё раскачивался из стороны в сторону.

— Это несчастный случай, — вдруг выпалил Хрюша. — Вот это что. Несчастный случай. — Голос Хрюши снова сорвался на визг. — И чего он вылез в такую темь? Зачем ему было из темноты выползть? Чокнутый. Сам нарывался. — Хрюша снова отчаянно замахал руками. — Несчастный случай...

— Ты не видел, что они сделали...

— Слышь-ка, Ральф. Нам надо про это позабыть. Нельзя нам, не для чего нам про это думать, понял?

— Я боюсь. Я нас самих боюсь. Я хочу домой. Господи, как я хочу домой.

— Это несчастный случай, — упрямо твердил Хрюша. — Вот и всё.

Он взял Ральфа за голое плечо, и Ральф вздрогнул от человеческого прикосновения.

— И слышь-ка, Ральф, — Хрюша быстро оглянулся и наклонился к Ральфу, — ты и виду не показывай, что мы тоже там были, когда этот танец. Ты Эрикисэму не говори.

— Но были же мы! Мы все!

Хрюша покачал головой:

— Мы-то не до конца. Да они ж в темноте и не разглядели. Ты вот сам сказал — я в круг не входил...

— И я, — бормотнул Ральф, — я тоже рядом стоял.

Хрюша кивнул облегчённо:

— Правильно. Мы рядом стояли. Мы ничего не делали, мы ничего не видели.

Хрюша помолчал, потом заговорил снова:

— Ничего, вчетвером будем жить. Во как заживём.

— Ну да, вчетвером. Мы за костром следить не сможем.

— А мы попробуем. Видишь? Я зажжём.

Близнецы вышли из лесу, волоча большое бревно. Бросили его у костра и повернули к бухте. Ральф вскочил на ноги.

— Эй, вы! Оба!

Близнецы на секунду застыли, потом опять пошли.

— Ральф, они же купаться идут.

— Лучше сразу с этим покончить.

Близнецы страшно удивились, заметив Ральфа. Вспыхнули и посмотрели куда-то мимо.

— Привет. И ты тут, Ральф?..

— А мы в лесу были...

— Дрова собирали.

— ...для костра...

— Мы вчера заблудились.

Ральф пристально разглядывал свои ноги.

— Вы заблудились уже после...

Хрюша чистил стёклышко.

— После пира, — глухо выдавил Сэм. Эрик кивнул. — Да, уже после пира...

— Мы рано ушли, — быстро вставил Хрюша. — Мы устали.

— Мы тоже...

— Совсем рано...

— Мы очень устали.

Сэм тронул садину у себя на лбу и тут же отдернул руку. Эрик тербил разбитую губу.

— Да. Мы очень устали, — повторил Сэм. — Вот мы рано и ушли. Ну, а как...

В воздухе тяжело повисло несказанное. Сэм поморщился, и у него с губ сорвалось это пакостное слово:

— ...танец?

От воспоминания о танце, при котором ни один из них не присутствовал, затрясло всех четверых.

— Мы рано ушли.

Дойдя до перешейка, связывавшего Замок с островом, Роджер не удивился, когда его окликнули. Во время страшной ночи он так и прикидывал, что большая часть племени спасётся в этом надёжном месте от ужасов острова.

Голос раскатился в вышине, там, где громоздились друг на друга уменьшающиеся глыбы.

— Стой! Кто идёт!

— Роджер.

— Подойди, друг.

Роджер подошёл.

— А сам-то ты не видишь, кто идёт?

— Вождь приказал всех окликать.

Роджер запрокинул голову.

— Ну всё равно, как бы ты меня не подпустил?

— Как! Залезай да посмотри.

Роджер взобрался по подобию ступенек.

— Взгляни-ка. Ну? Что?

На самом верху под камень было втиснуто бревно, а под ним построено другое — рычаг. Роберт слегка нажал на рычаг, и глыба застонала. Если налечь как следует, глыба загремела бы на перешеек. Роджер отдал изобретению должное:

— Вот это Вождь, да?

Роберт качнул головой:

— Он нас охотиться поведёт.

Он кивнул в сторону далёких шалашей, где взбиралась по небу белая струйка дыма. Роджер мрачно озирает остров, сидя на самом краю стены и трогая пальцем шатающийся зуб. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увёл разговор от неназванной темы.

— Он Уилфреда будет бить.

— За что?

Роберт повёл плечами:

— Не знаю. Он не сказал. Рассердился и приказал связать Уилфреда. И он... — Роберт нервно хихикнул, — и он долго-долго уже связанный ждёт...

— И Вождь не объяснил, за что?

— Я лично не слышал.

Сидя на грозной скале под палящим солнцем, Роджер принял эту новость как откровение. Он перестал возиться с зубом и замер, прикидывая возможности неограниченной власти. Потом, не говоря больше ни слова, полез вниз, к пещере и к племени.

Вождь сидел там, голый до пояса, и лицо было размалёвано белым и красным. Племя полукругом лежало перед ним. Побитый и высвобождённый Уилфред шумно хлюпал на заднем плане. Роджер присел на корточки рядом с остальными.

— ...завтра, — продолжал Вождь, — мы снова отправимся на охоту.

Он потыкал в дикарей — по очереди — копьём.

— Кое-кто останется тут, приводить в порядок пещеру и защищать ворота. Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мяса. Стражники должны следить за тем, чтоб сюда никто не пробрался...

Кто-то из дикарей поднял руку, и Вождь обратился к нему выкрашенно-мертвенное лицо.

— Вождь, а зачем они станут к нам пробираться?

И Вождь отвечал вдумчиво и туманно:

— Они станут. Чтоб нам вредить. И потому, стражники, будьте начеку. И потом ведь...

Вождь запнулся. Поразительно розовый треугольник мелькнул, мазнул по губам и тотчас исчез.

— ...и потом, зверь тоже может прийти. Помните, как он подкрался...

По полукругу прошла дрожь и утвердительный гул.

— Он пришёл под чужой личиной. И может явиться опять, хоть мы оставили ему голову от нашей добычи. Так что глядите в оба. Будьте начеку.

Стенли отнял локоть от скалы и поднял вопрошающий палец.

— Что тебе?

— Но разве мы... разве...

Он съёжился и потупился.

— Нет!

Дикари затихли, каждый боролся с собственной памятью.

— Нет! Как мы могли... убить... его?

Успокоенные, но и утраченные возможностью новых ужасов, дикари загудели опять.

— Итак, от горы подальше, — строго произнёс Вождь, — и оставлять ему голову, когда свинью убиваешь.

Стенли опять вздёрнул палец:

— Я думаю, зверь принимает личины.

— Возможно, — сказал Вождь. Тут открывался уже путь к богословским прениям. — В общем, с ним надо поосторожней. Мало ли что он ещё выкинет.

Племя призадумалось и содрогнулось, как от порыва ветра. Довольный произведённым эффектом, Вождь рывком встал.

— Но завтра — охотиться, и, когда у нас будет мясо, закатим пир.

Билл поднял руку:

— Вождь!

— Да?

— Чем мы огонь для костра добудем?

Краску, хлынувшую Вождю в лицо, скрыла белая и красная глина. Снова племя выплеснуло гул голосов в растерянную тишину. И тогда Вождь поднял руку:

— Огонь мы возьмём у тех. Слушайте все. Завтра мы идём на охоту. У нас будет мясо. А сегодня я и двое охотников... кто со мной?

Руки подняли Морис и Роджер.

— Морис...

— Слушаю, Вождь.

— Где у них костёр?

— На старом месте, у скалы.

Вождь кивнул.

— Остальным — ложиться спать, как только сядет солнце. А нам втроём, Морису, мне и Роджеру, придётся поработать. Выходим перед самым закатом...

Морис поднял руку:

— А вдруг мы встретим...

Взмахом руки Вождь отмёл это возражение:

— Мы пойдём вдоль берега по песку. Так что, если он явится, мы опять... опять станцуем наш танец.

— Это втроём-то?

Снова поднялся и замер гул.

Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение.

Дрова были сырые; они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос:

— Нельзя вторую ночь без костра.

Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль — слать вверх призывный столбик дыма; но он ещё и очаг и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-жёлтый вал дыма.

Хрюша снова надел очки и, довольный, смотрел на костёр.

— Хорошо бы радио сделать!

— Или самолёт бы...

— ...или лодку.

Ральф поворошил в памяти блекнувшие представления о мире.

— Мы бы в плен к красным могли попасть.

Эрик откинул волосы со лба.

— Лучше бы уж они, чем...

Переходить на личности он не стал, и Сэм кончил за него фразу, кивнув вдоль берега.

Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело.

— Он же что-то насчёт мертвеца говорил... — И страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. Он весь подался к костру:

— Нет-нет! Только не гасни!

— Совсем стал жидкий.

— Ещё дерево нужно, хоть и сырое.

— У меня астма...

И — неизбежный ответ:

— Слышали про твою какассу.

— Если я брёвна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рад, Ральф, но тут куда же денешься?

Втроём пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой жёлтый дым.

— Давайте поедим чего-нибудь.

Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копыя, и торопливо, молча, долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу, и только угли дотлевали в золе, и дыма не было.

— Я больше не могу ветки таскать, — сказал Эрик. — Я устал.

Ральф откашлялся:

— Наверху костёр у нас всё время горел.

— Так тот маленький был. А здесь большой нужно.

Ральф подкинул в костёр щепочку и проводил взглядом качнувшуюся в сумерках струю.

— Надо, чтоб он горел.

Эрик растянулся плашмя.

— Нет, я совсем устал. Да и какой смысл?

— Эрик! — выкрикнул Ральф. — Ты не смей так говорить!

Сэм встал на колени с Эриком рядом:

— Точно. Ну какой, какой смысл?

Ральф, негодуя, старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее. Что-то потрясающе важное...

— Ральф вам уже сто раз говорил, — проворчал Хрюша. — Как же вы ещё хотите, чтоб нас спасли?

— Именно! Если у нас не будет дыма...

И он сел перед ними на корточки в загустевших сумерках.

— Неужели вы не понимаете? Что толку мечтать о лодках, о радио?

Он вытянул руку, сжал кулак.

— У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо...

Он переводил взгляд с одного лица на другое. Но в минуту наивысшего подъёма и убеждённости вдруг этот занавес заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимал кулак, важно переводил взгляд с одного лица на другое... Наконец занавес снова взвился.

— Ах, ну да. А наше, значит, дело — дым. И чтоб побольше дыма...

<...>

Глава одиннадцатая. ЗАМОК

В недолгой рассветной прохладе все четверо собрались возле чёрного пятна, на месте костра, и Ральф стоял на коленках и дул на золу. Серый, перистый пепел взлетал от его стараний, но не появлялось ни искорки. Близнецы смотрели тревожно, Хрюша с отрешённым лицом сидел за блестящей стеною своей близорукости. Ральф дул, пока у него не зазвенело в ушах от натуги, но вот первый утренний бриз, отбив у него работу, засыпал ему глаза пеплом. Ральф отпрянул, выругался, вытер слёзы.

— Всё без толку.

Эрик смотрел на него сверху вниз из-под маски запёкшейся крови. Хрюша повернул в сторону Ральфа пустой взгляд:

— Конечно, без толку, Ральф. Мы без огня теперь.

Ральф придвинул лицо поближе к Хрюшиному:

— Ну, а так-то ты меня видишь?

— Чуть-чуть.

Глаз Ральфа снова спрятался за вздутой щекой.

— Они отобрали у нас огонь...

Его голос сорвался от бешенства:

— Украли!

— Вот они какие, — сказал Хрюша. — Я из-за них слепой. Понимаешь? Вот он, Джек Меридью. Ты созови собрание, Ральф, нам надо решить, что делать.

— Самих себя созывать?

— Раз больше нет никого. Сэм, дай-ка я за тебя ухвачусь.

Они пошли к площадке.

— Ты протруби в рог, — сказал Хрюша. — Ты изо всех сил протруби.

В лесу зашлось эхо. Взмыли птицы, голоса над верхушками, как в то давнее-давнее первое утро. Берег по обе стороны площадки был пуст. Несколько малышей шли от укрытий. Ральф сел на отполированный ствол, трое стали рядом. Он кивнул, Эрик и Сэм сели справа. Ральф сунул рог в руки Хрюше. Хрюша стоял и моргал, бережно держа сверкающую раковину.

— Ну, что же ты — говори.

— Я только одно хочу сказать. Я теперь ничего не вижу, и пускай мне отдадут мои очки. На нашем острове ужасные вещи делаются. Я за тебя голосовал, Ральф, я тебя выбирал главным. Ну а он, он всё это делает. Так что ты выступи, Ральф, и чего-нибудь нам скажи. А то...

Хрюша оборвал свою речь и всхлипнул. Он сел, и Ральф взял у него рог.

— Обыкновенный костёр. Неужели так это трудно? Правда же? Просто сигнал, чтобы нас спасли. Мы что — дикари или кто мы?! И вот теперь нет сигнала. Мимо может пройти корабль. Помните, он тогда на охоту ушёл, и костёр погас, а мимо прошёл корабль? И они ещё думают, он настоящий вождь. Ну, а потом, потом было... И это ведь тоже из-за него. Не он бы — никогда бы этого не было. А теперь вот Хрюша не видит ничего, приходят, крадут... — У Ральфа дрожал голос. — ...Ночью пришли, в темноте, и украли у нас огонь. Взяли и украли. Мы бы и так им дали огня, если б они попросили. А они украли, и теперь сигнала нет, и нас никогда не спасут. Понимаете? Мы бы сами им дали огня, а они взяли и украли. Я...

Он неловко запнулся. Мысли опять застилал этот занавес. Хрюша вытягивал руки за рогом.

— Ральф, что ты делать-то будешь? Это всё слова одни, а ведь надо решать. Я не могу без очков.

— Дай подумать. Может, пойти к ним, как мы раньше были — причесться, помыться? Мы же правда не дикари, и насчёт спасения не игра какая-то...

Он прижал пальцем вспухшую щёку и глянул на близнецов.

— Немножко приведём себя в порядок и двинемся...

— Копья возьмём, — сказал Сэм. — И Хрюша пусть тоже.

— Ага. Вдруг пригодятся.

— Рог не у тебя!

Хрюша поднял раковину.

— Если хотите, можете копыя брать, а я не буду! Что за радость? Меня всё равно как собаку придётся вести. Ладно, посмейтесь. Очень смешно. То-то тут всё время смеются. А что выходит? Что взрослые скажут? Саймона — убили. А того малыша, с отметиной... Видел его кто? Хоть раз с тех пор, когда...

— Хрюша! Минуточку!..

— У меня рог. Нет, я лично пойду прямо к Джеку Меридью и всё ему выложу.

— Тебе не поздоровится.

— Да что он мне ещё-то, теперь-то уж сделает? Я скажу ему что к чему. Я понесу рог, можно, а, Ральф? Я покажу ему кое-что, чего ему не хватает.

Хрюша умолк, переждал мгновение, оглядел неясные пятна лиц. Тень былых вытоптавших траву собраний прислушивалась к его речи.

— Я пойду к нему с рогом в руках. Я подниму рог. Я скажу ему — так, мол, и так, скажу, ты, конечно, сильнее меня, у тебя нету астмы. И ты видишь прекрасно, скажу, ты обоими глазами видишь. Но я у тебя не прошу мои очки, я у тебя их не клянчу. И я не стану тебя упрашивать, мол, будь человеком. Потому что неважно, сильный ты или нет, а честность есть честность. Так что отдавай мне мои очки, скажу, ты обязан отдать!

Хрюша закончил. Он был весь красный и дрожал. Сунул рог Ральфу, будто хотел поскорей от него отделаться, и вытер слёзы. Тихий зелёный свет обливал их, рог лежал у Ральфа в ногах, белый и хрупкий. Единственная капелька, протёкшая между Хрюшиных пальцев, звездой горела на сияющем выгибе.

Ральф наконец выпрямился и откинул волосы со лба.

— Ладно. То есть попробуй, если хочешь. Мы тоже пойдём.

— Он же раскрашенный будет, — сомневался Сэм. — Знаете сами, какой он будет...

— Не очень-то он нас испугался...

— Если он взбесится, мы не обрадуемся...

Ральф хмуро глянул на Сэма. Ему смутно вспоминалось что-то, что Саймон говорил тогда, среди скал.

— Глупостей не болтай, — сказал он. И тут же прибавил: — Значит, мы идём.

Он протянул рог Хрюше, и тот вспыхнул, на сей раз от гордости.

— На, ты понесёшь.

— Когда мы выступим, я его понесу... — Хрюша искал ещё слов, чтоб выразить свою пламенную готовность стойко пронести рог через все невзгоды и трудности. — ...Я с удовольствием, Ральф. Хоть меня самого же вести придётся.

Ральф снова положил рог на блестящий ствол.

— Сначала надо поесть, а уж потом отправимся.

Они пошли к разорённым фруктовым деревьям. Хрюше помогли добраться до еды, и он искал её ощупью. Пока ели, Ральф обдумывал план.

— Пойдём, как мы раньше были. Помоемся...

Сэм заглотил сочную мякоть и воспротивился.

— Мы же купаемся каждый день!

Ральф оглядел троих — чумазных, жалких, вздохнул:

— Надо бы волосы причесать. Только уж очень они у нас длинные.

— У меня в шалаше гольфы остались, — сказал Эрик. — Можно их на голову надеть, шапочки будут такие.

— Лучше чего-нибудь найдём, — сказал Хрюша, — и волосы вам сзади завяжем.

— Ну да, как у девчонок!

— Зачем? И вовсе не так.

— Ладно, пойдём как есть, — сказал Ральф. — Они тоже не лучше.

Эрик вытянул руку, преграждая им путь.

— Они же раскрашены будут. Сами знаете...

Все закивали. Они хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска.

— Ну и что? А мы не будем раскрашены, — сказал Ральф. — Потому что мы-то не дикири.

Близнецы переглянулись.

— А всё-таки, может...

Ральф крикнул:

— Никакой краски!..

И опять он умолк, ловя ускользающую мысль.

— Дым, — сказал он. — Нам нужен дым...

Он яростно глянул на близнецов:

— Дым, я говорю. Нам нельзя без дыма!..

Было тихо, и только ныли надсадно пчёлы. Потом Хрюша осторожно заговорил:

— Ну да. Дым ведь — сигнал, и без дыма нас никогда не спасут.

— Сам знаю! — крикнул Ральф. Он отдернул руку от Хрюши. — Что же, по-твоему, я...

— Просто я сказал, чего ты всегда говоришь, — заторопился Хрюша. — Просто мне вдруг показалось...

— Ничего подобного, — громко сказал Ральф. — Я всё время помню. Я не забыл...

Хрюша уже тряс головой, смиренно, увещающе:

— Ты же у нас Вождь, Ральф. Ты же, конечно, всё помнишь.

— Я не забыл.

— Ну конечно, нет.

Близнецы смотрели на Ральфа так, будто впервые его увидели.

Они отправились по берегу в боевом порядке. Первым шёл Ральф, он прихрамывал и нёс копьё на плече. Он плохо видел из-за дымки, дрожащей над сверканием песков, собственных длинных волос и вспухшей щеки. За ним шли близнецы, озабоченные, но не утратившие своей неисчерпаемой живости. Они говорили мало, но прилежно волокли за собой копья, ибо Хрюша установил, что, опустив глаза, защитив их от солнца, он видит, как концы копий ползут по песку. И потому он ступал между копьями, бережно прижимая к груди рог.

Тесная группка двигалась по песку, четыре сплюснутые тени плясали и путались у них под ногами. От бури не осталось следа, берег блистал, как наточенное лезвие. Гора и небо сияли в жаре, в головокружительной дали; и приподнятый миражом риф плыл по серебряному пруду на полпути к небу.

Прошли мимо того места, где танцевало тогда племя. Обугленные головни всё ещё лежали на камнях, где их загасило дождём, но снова был гладок песок у воды. Здесь они прошли молча. Все четверо не сомневались, что племя окажется в Замке, и, когда Замок стал виден, не сговариваясь, остановились. Заросли, самые густые на всём острове, зелёные, чёрные, непроницаемые, были слева от них, и высокая трава качалась впереди. Ральф шагнул вперёд.

Вот примятая трава, где они лежали тогда, когда он ходил к бастиону. Дальше был перешеек, а потом огибающий скалу выступ и красные башенки сверху.

Сэм тронул его за руку.

— Дым.

Дымное пятнышко дрожало в небе по ту сторону скалы.

— Ну конечно — у них костёр...

Ральф обернулся.

— Чего это мы прячемся?

Он вышел из заслона травы на голое место перед перешейком.

— Вы двое пойдёте сзади. Первым пойду я, потом прямо за мной Хрюша. Копья держите наготове.

Хрюша тревожно вглядывался в сверкающую пелену, отзавесившую его от мира:

— Тут не опасно? Не обрыв? Я слышу море...

— Держись ко мне поближе.

Ральф ступил на перешеек. Пнул камень, и тот плеснулся в воде. Потом море вздохнуло, всасывая волну, и в сорока футах внизу, слева от Ральфа, обнажился красный мшистый квадрат.

— А я не свалюсь? — мучился Хрюша. — Мне так жутко!

С высоты из-за башенок по ним вдруг ударил окрик, потом прогремел воинский клич, и дюжина голосов отозвалась на него из-за скалы.

— Давай сюда рог и не шевелись.

— Стой! Кто идёт?

Ральф запрокинул голову и различил наверху тёмное лицо Роджера.

— Сам видишь, — крикнул Ральф. — Хватит тебе дурачиться!

Он поднёс рог к губам и стал трубить. Дикари, раскрашенные до неузнаваемости, спускались по выступу на перешеек. В руках у них были копья, и они изготовлялись защищать подступы к бастиону. Ральф трубил, не обращая внимания на Хрюшин страх.

Роджер кричал:

— Не подходи, говорю! Слышишь?

Ральф наконец отнял рог ото рта. С трудом, но достаточно громко он выдохнул:

— Созываю собрание.

Охраняющие перешеек дикари перешёптывались, но не трогались с места. Ральф прошёл вперёд ещё два шага. Сзади шуршал заклинаящий шёпот:

— Не оставляй меня, Ральф.

— Ты стань на коленки, — бросил Ральф через плечо. — И жди, пока я вернусь.

Он остановился посреди перешейка и внимательно разглядывал ди-карей. Непринуждённые, вольные за своей краской, они позавязывали сзади волосы, и им было куда удобней, чем ему. Ральф тут же решил, что потом непременно тоже так сделает. Он даже чуть не попросил их обождать, чтоб распорядиться со своими волосами, не сходя с места; но было не до того. Дикари хихикали, и один поманил Ральфа копьём. Высоко наверху Роджер отнял руки от рычага и тянул шею, за-сматривая вниз. Мальчики на перешейке, сведённые к трём косматым головам, тонули в луже собственной тени. Хрюша обвисал между ними круглым мешком.

— Я созываю собрание.

Ни звука.

Роджер взял камешек и запустил в близнецов, целясь мимо. Они от-прянули, Сэм чуть не свалился в воду. В теле Роджера уже бил тёмный источник силы.

Ральф снова сказал — громко:

— Я созываю собрание.

Он пробежал взглядом по дикарям:

— Где Джек?

Дикари переминались, советовались. Раскрашенное лицо сказала голосом Роберта:

— Он охотится. И он не велел нам тебя пускать.

— Я пришёл к вам из-за огня, — сказал Ральф. — И насчёт Хрюшиных очков.

Группка перед ним сомкнулась, и над ней задрожал смех, лёгкий, радостный смех, эхом отлетавший от высоких скал.

Позади Ральфа раздался голос:

— Тебе чего от нас надо?

Близнецы метнулись из-за спины Ральфа и встали перед ним. Он рывком повернулся. Джек, узнаваемый по рыжим волосам и повадке, шёл из лесу. По бокам преданно трусили двое охотников. Все трое были размалёваны зелёной и чёрной краской. Позади них, на траве, осталась вспоротая и обезглавленная свиная туша.

Хрюша стонал:

— Не бросай меня! Ральф!

Он с потешной осторожностью обнял камень, прижимаясь к нему над опавшим морем. Дикари уже не хихикали, они выли от смеха.

Джек крикнул, перекрывая шум:

— Уходи, Ральф. Сиди уж на своём конце острова. А тут моя территория и моё племя. И отстань ты от меня!

Смех замер.

— Ты сцапал Хрюшины очки, — задыхнулся Ральф. — Ты обязан их отдать.

— Обязан? Кто это сказал?

Ральфа взорвало:

— Я говорю! Ты сам голосовал за меня! Ты разве не слышал, как я трубил в рог? Постыдись! Это подлость! Мы б тебе дали огня, если б ты попросил...

Кровь ударила ему в лицо, и ужасно дёргалось вспухшее веко.

— Пожалуйста, мы бы тебе дали огня. Так нет же! Ты подкрался, как вор, и украл Хрюшины очки.

— А ну повтори!

— Вор! Вор!

Хрюша взвизгнул.

— Ральф! Меня пожалей!

Джек бросился к Ральфу, нацелился ему в грудь копьём. По мелькнувшей руке Джека Ральф сообразил направление удара и отбил его своим древком.

Потом перевернул копьё и ткнул Джека остриём возле уха. Они стояли лицом к лицу, задыхаясь, бешено глядя глаза в глаза.

— Кто это — вор?!

— Ты!

Джек извернулся и сделал новый выпад. Не сговариваясь, они теперь держали копья, как сабли, больше не решались пускать в ход смертоносные острия. Удар пришёлся по копьё Ральфа, потом обжёг болью пальцы. Оба отпрянули и переменили позицию, Джек теперь был ближе к Замку, Ральф — к острову.

Оба совершенно задыхались.

— Ну!

— Чего — ну?

Они свирепо изготовились, но соблюдали безопасное расстояние.

— Ну-ка, сунься, попробуй!

— Сам попробуй!

Хрюша вцепился в камень и пытался привлечь внимание Ральфа. Ральф нагнулся к нему, не сводя взгляда с Джека.

— Ральф, вспомни, чего мы пришли. Костёр. Мои очки.

Ральф кивнул. Он расслабился, распрямился, поставил копьё. Джек непроницаемо смотрел на него из-под краски. Ральф смотрел на башенки, на сгрудившихся дикарей.

— Слушайте. Мы вот что пришли вам сказать. Отдайте Хрюше очки — это раз. Он без них ничего не видит. Это не игра...

Племя раскрашенных дикарей захихикало, и у Ральфа запрыгали мысли. Он откинул назад волосы и вглядывался в чёрно-зелёную маску, стараясь вспомнить лицо Джека.

Хрюша шепнул:

— И костёр.

— Ах да. И насчёт костра. Ещё раз повторю. Я это с первого дня повторяю.

Он вытянул копьё в сторону дикарей.

— Наша единственная надежда — держать сигнал всё время, пока светло. И тогда корабль заметит дым, подойдёт сюда и нас спасёт и возьмёт нас домой. А без этого дыма нам придётся ждать, вдруг корабль подойдёт случайно. Так много лет можно прождать. Так состариться можно...

Смех дикарей, дрожащий, серебряный, ненастоящий, взметнулся и эхом повис вдали. Ральф уже не помнил себя от ярости. Непослушным, тоненьким голосом он закричал:

— Вы что, не соображаете, раскрашенные идиоты? Сэм, Эрик, Хрюша да я — это же мало! Мы берегли костёр, но мы же не можем. А вам бы всё играть и охотиться...

Он показал мимо них, туда, где таяла в блеске дымная струйка.

— Смотрите! Это разве сигнал? Просто костёр, чтоб на нём жарить. Поесть-то вы поедите, а дыма у вас не будет. Неужели ещё неясно? Может, там уже где-то корабль идёт...

Он умолк, сражённый молчанием и неопознаваемостью раскрашенных дикарей, охраняющих вход. Вождь раскрыл красный рот и обратился к близнецам, стоявшим между ним и его племенем:

— Вы, двое! А ну — назад!

Ему не ответили. Близнецы озадаченно переглядывались; Хрюша, ободрённый тем, что кончилась драка, осторожно поднялся. Джек оглянулся на Ральфа, снова посмотрел на близнецов.

— Схватить их!

Никто не двигался. Джек заорал злобно:

— Сказано вам — схватить!

Раскрашенные суетливо, неловко окружили близнецов. Снова задрожал серебряный смех.

Сама цивилизация взывала возмущёнными голосами Эрикисэма:

— Да вы что!..

— Как же можно!..

У них вырвали из рук копьё.

— Связать!

Ральф безнадёжно кричал в чёрно-зелёную маску:

— Джек!

— Я что сказал? Связать!

Раскрашенные уже чувствовали, что Эрикисэм не то что они сами, они уже чувствовали силу в своих руках. Неуклюже и рьяно они повалили близнецов. Джек вдохновился. Он сообразил, что Ральф попытается прийти близнецам на выручку. Его копьё описало вокруг Ральфа свистящую дугу. Ральф еле успел отбиться. Племя и близнецы бились рядом в громкой свалке. Хрюша опять скорчился. И вот удивлённые близнецы уже лежали, а племя стояло вокруг. Джек повернулся к Ральфу, процедил:

— Видал? Они всё сделают, что я захочу.

И — снова молчание. Неумело связанные близнецы лежали, а племя выжидательно смотрело на Ральфа. Он посчитал их, глядя сквозь спутанные космы, скользнул глазами по негодному дымку.

И не выдержал. Он заорал на Джека:

— Ты — зверь! Свинья! Сволочь ты! Вор проклятый!

И бросился на него.

Джек понял, что настала решительная минута, и бросился навстречу. Они сшиблись, отлетели в разные стороны. Джек наотмашь ударил Ральфа кулаком в ухо, Ральф стукнул его в живот, Джек охнул. Они снова стояли лицом к лицу, яростно задыхаясь. Каждого обескураживала ярость противника. И тут только вошёл им в уши шум, сопровождавший драку, дерущий, слитый, ободряющий клич племени.

К Ральфу пробился голос Хрюши:

— Давай я им скажу.

Он вдруг поднялся в поднятой схваткой пыли, и, завидя его намерения, племя перешло на дружное улюлюканье.

Хрюша поднял рог, улюлюканье чуть стихло и снова грянуло — ещё сильнее.

— Рог у меня!

Хрюша орал:

— Сказано вам, рог у меня!

Как ни странно, настала тишина; племя приготовилось послушать, что такого забавного собирается преподнести Хрюша.

Тишина, запинка. И среди тишины — странный шум по воздуху у самой головы Ральфа. Он почти его не заметил, но вот — опять, лёгкое «ж-ж-ж!». Кто-то бросал камушки. Это Роджер их бросал, не снимая другой руки с рычага. Ральф был внизу косматой копной и Хрюша — мешком жира.

— Я вот что скажу. Вы ведёте себя, как дети малые.

Снова улюлюканье взвилось и замерло, когда Хрюша поднял белую магическую раковину.

— Что лучше — быть бандой раскрашенных черномазых, как вы, или же быть разумными людьми, как Ральф?

Дикари неистово загалдели. Хрюша снова орал:

— Что лучше — жить по правилам и дружно или же охотиться и убивать?

Снова галдёж и снова — «ж-ж-ж».

Ральф перекричал шум:

— Что лучше — закон и чтоб нас спасли или охотиться и погубить всех?

Джек уже тоже вопил, Ральфа никто не слышал. Джек отступил к племени. Они стояли грозной стеной, оцетинясь копьями. Они решались, готовились. Ещё немного — и они бросятся очищать перешеек. Ральф стоял перед ними, посреди перешейка, чуть ближе к краю, копьё наготове. Рядом стоял Хрюша, всё ещё поднимая талисман — хрупкую, сверкающую красавицу-раковину. По ним сгущённой ненавистью ударял вой. Высоко наверху Роджер в исступлённом забытии всей тяжестью налегал на рычаг.

Ральф услышал огромный камень гораздо раньше, чем его увидел. Он почувствовал, как содрогнулась земля — толчок отдался в пятки, сверху с грохотом посыпались камни поменьше. Что-то красное, страшное запрыгало по перешейку, он бросился плашмя, дикари завизжали.

Камень прошёлся по Хрюше с головы до колен; рог разлетелся на тысячу белых осколков и перестал существовать. Хрюша без слова, без звука полетел боком с обрыва, переворачиваясь на лету. Камень дважды подпрыгнул и скрылся в лесу. Хрюша пролетел сорок футов

и упал спиной на ту самую красную, квадратную глыбу в море. <...> Потом море снова медленно, тяжело вздохнуло, вскипело над глыбой бело-розовой пеной; а когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было.

Стояла мёртвая тишина. Губы Ральфа сложили слово, но ничего не выговорилось.

Вдруг Джек отбежал от своих и завопил:

— Ну что? Видал? И тебя так! Так тебе и надо! Нет у тебя племени! Нет больше твоего рога!

Он, пригнувшись, бежал на Ральфа:

— Я Вождь!

Злобно, старательно целясь, он запустил в Ральфа копьём. Остриё до мяса прорвало кожу у Ральфа на боку, потом отлетело, упало в воду. Ральф качнулся, боли он не чувствовал, только страх, а племя, взыв за Вождём вслед, уже надвигалось. Другое копье, гнущее, оно летело не прямо, а просвистело у самой его головы, и ещё одно упало с высоты, где стоял Роджер. Близнецы лежали, скрытые за толпой, и безликие бесы запрудили перешеек. Ральф повернулся и побежал. Крик нёсся за ним, как крик перепуганных чаек. По инстинкту, которого он сам в себе не знал, Ральф петлял на открытом пространстве, и копья летели мимо. Он вовремя заметил обезглавленную свинью, перепрыгнул, с хрустом вломился в заросли и скрылся в чаще.

Вождь остановился возле свиньи, повернулся к племени, поднял руки:

— Назад! Назад в крепость!

Племя шумно повернуло к перешейку, и там уже стоял Роджер.

Вождь сердито спросил:

— Ты почему не на посту?

Роджер поднял на него твёрдый, сумрачный взгляд:

— Просто спустился.

Смерть смотрела из его глаз. Вождь не сказал ему больше ни слова, перевёл взгляд вниз, на Эрикисэма.

— Ну что — вступаєте в моё племя?

— Отпусти меня...

— И меня.

Вождь схватил одно из оставшихся на земле копий и ткнул Сэма под рёбра.

— Вы что хотите этим сказать, а? — спрашивал Вождь свирепо. — Зачем с копьями сюда явились, а? Почему в племя вступать не хотите, а? Копьё уже ритмично втыкалось под рёбра. Сэм взвыл.

— Да нет, ты не так.

Роджер оттеснил Вождя, только что не толкнув плечом. Вопль оборвался, близнецы лежали и смотрели вверх в немом ужасе. Роджер надвигался на них, облечённый неведомой властью.

Глава двенадцатая. ВОПЛЬ ОХОТНИКОВ

Ральф затаился в зарослях и обдумывал, как ему быть со своими ранами. На правом боку был большой кровоподтёк, рана кровоточила и вздулась. В волосы ему набилась грязь, они торчали, как усики лиан. Продираясь сквозь кусты, он набил синяков и весь испарапался. Наконец отдышавшись, он понял, что с мытьём придётся подождать. Ну как ты услышишь шаги голых ног, плескаясь в воде? Как укроешься в ручье или на открытом берегу?

Ральф вслушался. Он был, в общем-то, совсем недалеко от Замка, и сначала ему показалось со страху, что это погоня. Но охотники только пошарили по зелёной опушке — наверное, собирали копья — и сразу бросились обратно, к солнечным скалам, будто испугались лесной тьмы. Одного он даже увидел — коричневого, чёрного, красного — и узнал Билла. Да нет, тут же подумал Ральф, какой же он Билл. Образ этого дикаря никак не хотел сливаться с прежним портретом мальчика в рубашке и шортах.

День угасал; круглые солнечные пятна ровно смещались по зелёным листьям и по бурому пуху стволов, со стороны Замка не доносилось ни звука. Наконец Ральф выбрался из кустов и стал пробираться к заслонявшим перешеек непролазным зарослям. Очень осторожно он выглянул из-за веток и увидел, что Роберт сидит на посту, на вершине скалы. В левой руке Роберт держал копьё, а правой подбрасывал и ловил камушек. За его спиной подымался густой столб дыма, и у Ральфа защипало в ноздрах и потекли слюнки. Он утёрся ладонью и впервые с утра почувствовал голод. Племя, наверное, обсело выпотрошенную свинью и смотрит, как капает и сгорает в золе сало. Смотрит, не отрывая глаз.

Кто-то ещё, неопознаваемый, вырос рядом с Робертом, дал ему что-то и снова исчез за скалой. Роберт положил копьё и, растопырив ру-

ки, заработал челюстями. Значит, пир начался и часовой получил свою долю.

Значит, пока ему ничто не грозит. Ральф захромал прочь, к фруктовым деревьям, к жалкой еде, терзаемый горькой мыслью о пире. Сегодня у них пир, а завтра...

Он старался уговорить себя, что его оставят в покое; ну, может, даже изгонят. Но никуда не мог деться от нерассуждающей, страшной уверенности. Гибель рога, смерть Хрюши и Саймона нависли над островом, как туман. Раскрашенные дикари ни перед чем не остановятся. И ещё эта странная ниточка между ним и Джеком; нет, Джек не уймётся никогда, он не оставит его в покое. Ни за что.

Он замер, весь в солнечных пятнах, придерживая поднятую ветку. И вдруг затрясся от ужаса и крикнул:

— Нет! Не могли они до такого дойти! Это несчастный случай.

Он нырнул под ветку, побежал, спотыкаясь, потом остановился и прислушался.

Он вышел к вытоптанному месту, где были фрукты, и начал жадно их обрывать. Встретил двух малышей и, не имея понятия о своём виде, изумился, когда они с воплями бросились прочь.

Он поел и вышел к берегу. Солнце косо скользило по стволам пальм возле разрушенного шалаша. Вот площадка. Вот бухта. Всего бы лучше, не замечая подсказок давящей на сердце свинцовой тоски, положиться на их здравый смысл, на остатки соображения. Теперь, когда племя насытилось, может, стоит опять попытаться?.. Да и невозможно тут вытерпеть ночь, в этом пустом шалаше возле брошенной площадки. У него по спине побежали мурашки. Костра нет. Дыма нет. Их теперь никогда не спасут. Он повернул и заковылял к территории Джека.

Дротики света уже застревали в ветвях. Наконец он дошёл до прогалины, где всюду был камень и потому не росли деревья. Тёмные тени затопили сейчас прогалину, и Ральф чуть не бросился за дерево, когда увидел, что что-то стоит прямо посередине; потом разглядел, что белое лицо — это голая кость и на палке торчит и скалится на него свиной череп. Ральф медленно пошёл на середину прогалины, вглядываясь в череп, который блистал, в точности как раньше блистал белый рог, и будто цинично ухмылялся. Любопытный муравей копошился в пустой глазнице, других признаков жизни там не было.

А вдруг...

Его проняла дрожь. Он стоял, обеими руками придерживал волосы, а череп был высоко, чуть не вровень с его лицом. Зубы скалились, и властно и без усилия пустые глазницы удерживали его взгляд.

Да что же это такое?

Череп смотрел на Ральфа с таким видом, будто знает ответы на все вопросы, только не хочет сказать. Тошный страх и бешенство накатили на Ральфа, он ударил эту пакость, а она качнулась, вернулась на место, как игрушка, и не переставала ухмыляться ему в лицо, и он ударил ещё, ещё и заплакал от омерзения. Потом он сосал разбитые кулаки, смотрел на голую палку, а череп, расколотый надвое, ухмылялся теперь уже огромной шестифутовой ухмылкой. Он выдернул дрожащую палку из щели и, как копьём, защищаясь от белых осколков, не сводя глаз с обращённой в небо ухмылки, попятился в чашу.

<...>

Он споткнулся о корень, настигающий крик взвился ещё выше. Шалаш взорвался в огне, огонь хлопал за правым плечом, впереди блеснула вода. И он упал, он кубарем покатился на горячий песок, он заслонился руками и старался вытолкнуть из горла крик о пощаде.

Потом он встал, качаясь, весь натянулся, приготовился к новому ужасу, поднял глаза и увидел огромную фуражку. У фуражки был белый верх, а над зелёным козырьком были корона, якорь, золотые листы. Он увидел белый тик, эполеты, револьвер, золотые пуговицы на мундире.

Морской офицер стоял на песке и настороженно, удивлённо разглядывал Ральфа. За ним, на берегу был катер, его вытащили из воды и держали за нос двое матросов. В катере стоял ещё матрос и держал автомат.

Крик охотников запнулся и оборвался.

Офицер ещё поглядел на Ральфа с сомнением, потом снял руку с револьвера.

— Здравствуй.

Думая о том, как постыдно он выглядит, ёжась, Ральф робко ответил:

— Здравствуйте.

Офицер кивнул, будто услышал ответ на какой-то вопрос.

— Взрослых здесь нет?

Ральф затряс головой, как немой. Он повернулся. На берегу полукругом тихо-тихо стояли мальчишки с острыми палками в руках, перемазанные цветной глиной.

— Доигрались? — сказал офицер.

Огонь добрался до кокосовых пальм на берегу и с шумом их проглотил. Подпрыгнув, как акробат, пламя выбросило отдельный язык и слизнуло верхушки пальм на площадке. Небо было чёрное.

Офицер весело улыбался Ральфу:

— Мы увидели ваш дым. У вас тут что? Война?

Ральф кивнул.

Офицер разглядывал маленькое пугало. Ребёнка надлежало срочно помыть, подстричь, утереть ему нос, смазать как следует ссадины.

— Обошлось без смертоубийства, надеюсь? Нет мёртвых тел?

— Только два. Но их нет. Унесло.

Офицер наклонился и пристально вглядывался в лицо Ральфа.

— Двое? Убитых?

Ральф снова кивнул. За его спиной весь остров дрожал в пламени.

Офицер разбирался, как правило, когда ему лгут, а когда говорят правду. Он тихонько присвистнул.

Появлялись ещё мальчишки, некоторые совсем клопы, тёмные, с выпяченными, как у маленьких дикарей, животами. Один подошёл к офицеру вплотную, поднял глаза.

— Я... я...

Далее ничего не последовало. Персиваль Уимз Медисон откапывал в памяти свою магическую формулу, но она затерялась там без следа.

Офицер повернулся к Ральфу:

— Мы вас заберём. Сколько вас тут?

Ральф только тряс головой. Офицер посмотрел мимо него на размалёванных мальчишек:

— Кто у вас главный?

— Я, — громко сказал Ральф.

Мальчуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разбитыми очками, болтавшимися на поясе, шагнул вперёд, но тут же передумал и замер.

— Мы увидели ваш дым... Так вы даже не знаете, сколько вас тут?

— Нет, сэр.

— Казалось бы, — офицер прикидывал предстоящие хлопоты, розыски, — казалось бы, английские мальчишки — вы ведь все англичане, не так ли? — могли выглядеть и попристойней...

— Так сначала и было, — сказал Ральф, — пока...

Он запнулся.

— Мы тогда были все вместе...

Офицер понимающе закивал:

— Ну да. И всё тогда чудно выглядело. Просто «Коралловый остров».

Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось — снова берег опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон умер, а Джек... Из глаз у Ральфа брызнули слёзы, его трясло от рыданий. Он не стал им противиться; впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал себе волю, спазмы горя, отчаянные, неудержимые, казалось, сейчас вывернут его наизнанку. Голос поднялся под чёрным дымом, заставшим гибнущий остров. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И, стоя среди них, грязный, косматый, с неутёртым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша.

Офицер был тронут и немного смущён. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отдыхая взглядом на чётком силуэте крейсера в отдалении.



Решаем читательские задачи

1. Вспомните произведения, в которых герои оказываются на необитаемом острове. Чем отличаются от героев тех произведений персонажи «Повелителя мух»?

2. Почему поначалу милые и благовоспитанные, похожие друг на друга ребята так по-разному проявляют себя?

3. В «Повелителе мух» много описаний природы. Вот одно из них, из главы шестой «Зверь сходит с неба»:

«Путаная тьма уже расслаивалась на даль и близь, и затеплели подцветкой облачка в вышине. Одинокая морская птица взвилась с хриплым криком, эхо перехватило его, и что-то засвистело в лесу. Лоскуты облаков у горизонта пропитались розовостью, и снова стали зелёными верхушки пальм». Найдите ещё несколько пейзажных зарисовок. Как вы думаете, какую роль в романе со столь динамичным сюжетом играют описания природы?

4. Критики много писали о романе «Повелитель мух». Один из них утверждал, например, что Повелитель мух оказывается тем странным, плохо угадываемым страхом, тяжёлым предчувствием, которое таится

в душе каждого мальчика. Каждый должен стать повелителем собственной души, а не роящихся вокруг мертвечины мух — вот какую авторскую идею раскрывает этот ужасный и таинственный образ. Согласны ли вы с таким пониманием романа?

5. Послужит ли происшедшее уроком для оставшихся в живых мальчиков? Обоснуйте своё мнение.



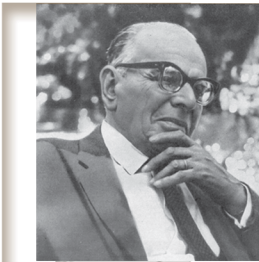
Обсудим вместе

1. Что привело мальчиков к такому жестокому поведению и к таким трагическим последствиям? Быть может, окажись вместе с ними на острове девочки, они смогли бы урезонить жестоких лидеров?

2. Вы заметили, как двое ребят выделились из общей массы и стали лидерами? Что общего между двумя лидерами и в чём их различие? Обязательна ли жёсткость в числе лидерских качеств?



Из русской литературы XX века





Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940)

М. А. Булгаков родился в Киеве в семье преподавателя духовной академии, получил хорошее домашнее воспитание: владел французским, немецким, английским, греческим и латинским языками, позже выучил испанский и итальянский. В 1916 году с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета. Однако врачом Булгаков проработал недолго: с детства его влекла литература. Работать врачом — значит помогать людям и узнавать их. Врачебная практика Чехова сделала известной школу врача Захарьина. Согласно его наставлениям, лечить следовало не *болезнь*, а *больного*. Личность пациента, его жизненные силы, способные неожиданно возродить больного, взбодрить его, когда болезнь, казалось бы, уже окончательно одержала верх, — это занимало Булгакова больше всего остального. Ведь с этим и была связана загадка человеческой души — самой непостижимой субстанции¹ на свете. Именно душа, её непостижимость и загадочность, тайные механизмы личности и скрытые пружины истории — вот что интересовало начинающего писателя прежде всего.

Публиковаться Булгаков начал в 1919 году. Своим литературным учителем он считал Н. В. Гоголя. В 1920-е годы появились первые заметные произведения: сборники рассказов «Дьяволиада» (1924) и «Рокковые яйца» (1925); известный роман «Белая гвардия» (1925), годом позже переработанный в пьесу «Дни Турбиных» (1926). Театр постоянно манил Булгакова. Он не только работал одно время помощником режиссёра, но и создал целый ряд замечательных пьес: «Зойкина квартира» (1926), «Бег» (1928), «Багровый остров» (1928), «Кабала святош» (1929) — о Мольере, «Иван Васильевич» (1935) (по мотивам этой пьесы снят знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профес-

¹ *Субста́нция* (книжн.; от лат. «сущность») — первооснова, сущность.

сию»). Последней стала пьеса о молодом Сталине «Батум¹» (1939), которую «отец народов» лично запретил ставить в театре.

Творчество М. А. Булгакова развивалось в переломную историческую эпоху, когда жизнь и нравы людей менялись невероятно быстро. Булгаковские находки — от самых глубин культуры. Современность для него была лишь поводом для обращения к проблемам вечным, интересующим людей всегда.

Отсюда особенный подход писателя к литературе, отличавший его от многих советских современников. На переломе эпох Булгаков сознательно избирает позицию представителя «века минувшего». Такая позиция заведомо чревата старомодностью, но писателя это не пугало.

«Впоследствии, когда синеглазый² прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения... подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль...» — писал Валентин Катаев в известном романе-воспоминании «Алмазный мой венец». И далее: «...был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты... Он любил поучать — в нём было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространённому типу людей никогда и ни в чём не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов».

Катаевские «перечислительные» нагнетающие интонации передают особенность булгаковского писательского облика, «имиджа». Банальная «оригинальность» трансформируется здесь в трагическую «непохожесть» человека, которому никак не «вписаться» в общетипичный ряд.

Булгаков «не вписывается» намеренно, ибо не представляет себя добродетельным «коммунянином», «будетлянином», как называл граждан будущего общества Велимир Хлебников.

¹ *Батум* — так назывался грузинский город Батуми до 1936 г.

² *Синеглазый* — под таким прозвищем представлен М. А. Булгаков в книге В. П. Катаева.

Булгаков принял на себя высокую миссию сохранения русской культуры. Служение русской культуре проявлялось во всём: в проблематике произведений, в литературных вкусах, в манере говорить и одеваться, в благородстве поведения, в отстаивании человеческих убеждений.

В произведении, к изучению которого мы сейчас приступаем, писатель пытается найти ответ на главные вопросы: как человек становится Человеком; что такое человеческое достоинство и как его сохранить?

Повесть «Собачье сердце»

Это произведение было заказано М. А. Булгакову сразу же после успешной публикации сборника «Роковые яйца». Повесть была написана очень быстро: на авторском машинописном экземпляре стоит дата «январь — март 1925 года». Однако при жизни писателя она так и не была опубликована. Впервые она была напечатана в журнале «Грани» (1968, № 69) во Франкфурте, в том же году вышла отдельным изданием в Лондоне. На родине повесть вообще появилась только в 1987 году (журнал «Знамя», № 6). «Собачье сердце» оказалось одним из ярчайших произведений «отложенной литературы» — так называли огромный пласт талантливой, интересной литературы, не нашедшей выхода к читателю. Лишь в период перестройки многие из этих рукописей были напечатаны. Повесть «Собачье сердце» стала одной из самых читаемых. Популярность повести в сегодняшней России связана, конечно, и с удачной экранизацией 1988 года (режиссёр В. В. Бортко).

«Запрещена навсегда»

Писатели сразу же восприняли «Собачье сердце» как замечательное, незаурядное произведение. В. В. Вересаев писал М. А. Волошину: «...Юмористические его вещи — перлы¹, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь „Собачье сердце“, и он совсем падает духом».

Непосредственным поводом к запрету публикации послужил донос. Впервые автор читал рукопись на литературных вечерах, так называе-

¹ *Перл* (устар.) — жемчужное зерно, жемчужина. Обычно так называли и произведения искусства, достигшие истинного совершенства. В современном русском языке (перен., разг.) — нечто нелепое, смешное.

мых «Никитинских субботниках», 7 и 21 марта 1925 года. На этих публичных читках присутствовал агент ГПУ, который немедленно в своём сообщении отметил «контрреволюционный характер» произведения. Впрочем, и без этого сообщения повесть была обречена: слишком силен был заложенный в ней заряд юмора, слишком самостоятельными и острыми на язык были герои, слишком откровенной была издёвка над новыми догмами, усиленно насаждавшимися новой властью. Альманах «Недра», для которого и была написана повесть, категорически отказал в публикации. Повесть была запрещена немедленно и «навсегда»: цензоры даже не требовали переделывать её. Писатель пытался пробить хотя бы инсценировку произведения. Однако МХАТ расторг договор в связи с тем, что текст повести был запрещён цензурой. Булгакову посоветовали обратиться за помощью к члену Политбюро Л. Б. Каменеву. Это обращение не помогло. Опала писателя только начиналась.

7 мая 1926 года у Булгакова был проведён обыск. Изъятыми оказались некоторые важные материалы, в том числе машинописный вариант повести «Собачье сердце» и дневники. Вернуть их удалось лишь через три с половиной года с помощью М. Горького.

История Шарикова

Каждое произведение Булгакова может быть прочитано с двух позиций: во-первых, как гротескное описание действительности; во-вторых, как философское осмысление человеческого бытия, тщетности попыток изменить естественный ход вещей.

В «Собачьем сердце» проверяется наиболее радикальный путь создания человека: операция и последующее воспитание, от посещения цирка и оперы до чтения полезных книжек.

Один из главных героев повести — профессор Филипп Филиппович Преображенский — учёный с мировым именем. Он не только успешно лечит пациентов, но и проводит дерзкие научные эксперименты. На первый взгляд кажется, что они должны служить во благо человека — улучшить человеческую природу.

Профессор задумывает небывалый эксперимент. Как только найдется подходящий донор, он приступает к операции. Профессор пересаживает фрагменты мозга и железы только что убитого пьяницы и дебошира Клима Чугункина милому псу Шарiku, найденному на ули-

це. Уникальная операция проходит успешно, но с псом начинают происходить непредвиденные перемены. Пёс Шарик превращается в человеческую особь: необразованного, невоспитанного, с дурным характером, но всё же человека!

Конечно, профессиональная известность и научное признание будут лестны маститому профессору Преображенскому, но сможет ли он держать под контролем дальнейший ход эксперимента? Ведь операцией эксперимент не заканчивается! Её результатом стало новое живое существо, которое стремительно обретает человеческий облик и... не имеет даже имени. Постепенно становится очевидным, что профессор, решившись на эксперимент, не предусмотрел многого... Он надеется, что его ассистент доктор Борменталь поможет воспитать это создание, но унаследованные от Клима Чугункина черты начинают проявляться в новом обитателе профессорской квартиры всё сильнее и сильнее. Например, ситуация с именем. Он берёт себе звучное имя Полиграф Полиграфович Шариков — даже не зная значения слова «полиграф». Профессор Преображенский и Борменталь посмеиваются над странным выбором имени, но ничего поделать не могут... Решающим для Шарикова оказывается знакомство с председателем домкома Швондером, представителем новой власти. Швондер устраивает Полиграфа на работу и буквально натравливает на профессора.

Выясняется, что отрицательные черты личности Шарикова вполне устраивают не только Швондера: Шариков вообще — плоть от плоти власти, создавшей ирреальный мир лозунгов и предрассудков. Прimitивный и агрессивный Шариков — как раз то, что нужно новой власти. Потому-то Шариков так быстро делает карьеру — становится начальником подотдела Московского коммунального хозяйства. Его подотдел занимается очисткой Москвы от бродячих животных, и на этой работе агрессивность и безжалостность Шарикова оказываются как нельзя кстати.

В творчестве Булгакова персонажи-оборотни, переходящие в мир людей из мира животных и обратно, не редкость. Шариков — один из таких персонажей. Вот как дан его портрет: «Волосы у него на голове выросли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой величиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка».

Герои и прототипы

Для Булгакова всегда было характерно использование прототипов. Не изменил он своему методу и здесь: врач Николай Михайлович Покровский, дядя писателя, стал прототипом профессора Филиппа Филипповича Преображенского. Булгаков уже обращался к описанию его колоритной внешности — в повести «Роковые яйца», имевшей громкий успех. Пациентка профессора в повести упоминает имя Мориц: Булгаков был знаком с театральным деятелем по фамилии Мориц, который был на какое-то время арестован, потом занялся преподавательской деятельностью. А таинственный Пётр Александрович олицетворял собой образ всемогущего и жизнелюбивого пролетарского наркома.

В ходе работы над произведением Булгаков старался избавляться от упоминания деталей из реальной действительности, которые могли быть расценены как намёк на того или иного конкретного деятеля. Например, убрал замечание профессора о том, что калоши исчезли в апреле 1917 года. Писателю казалось, что цензура сочтёт это намёком «на вождя мирового пролетариата» — В. И. Ленина, который именно тогда вернулся из-за границы в Россию...

Помимо многочисленных примет времени «Собачье сердце» содержит предсказание об исторической обречённости враждебно-наступательной и бездумной власти. Интеллектуалам следует набраться решимости и остановить происходящий нелепый эксперимент. Под этим экспериментом писатель, без сомнения, подразумевал политику большевиков, пришедших к власти в России после октябрьских событий 1917 года.

Профессор Преображенский старается сколь можно долго не прибегать к насилию в отношении Шарикова, но ему становится всё труднее сдерживать активность и диктат Полиграфа. Почувствовав себя в силе, Шариков не только пишет доносы на профессора, но и грозит ему револьвером. И тогда Преображенский и Борменталь принимают решение вернуть его в прежнее состояние. Так заканчивается эта «чудовищная», как гласит подзаголовок, история.



Решаем читательские задачи

В учебник включены лишь отрывки из повести «Собачье сердце», которую вам следует прочитать целиком.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

(Отрывки)

I

У-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Выюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — всё равно что калошу лизать...

У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поёт на кругу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас по задку сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко

могу получить воспаление лёгких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадаетея разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба, эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с неё выкли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она... Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — всё на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалаявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» — она назвала его... Какой он, к чёрту, «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит, стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарiku, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощёлкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью — как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик, у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света неувидел при мысли, что богатый чужак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. Ф-р-р-р... гау! Вон! Не напасёшься Моcсельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

Эх, чужак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Фёдор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Фёдор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Чёрт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся вниз. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ыр». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы гол-

ландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окна висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением... «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», — подумал пёс.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные олени рога в вышоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, чёрт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами, и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий, тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной камере, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет... — мысленно завыл пёс, — извините, не дамся! Понимаю, о чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.

— Куда ты, чёрт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаянный!

«Где у них чёрная лестница?..» — соображал пёс. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки, вот так пёс!

Ещё шире распахнулась дверь, и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причём пёс с увлечением тяпнул её повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, конечно, — мечтательно думал он, валясь прямо на острые стёкла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеёры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей», — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пёс, — это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— «Р-раздаются серенады, раздаётся стук мечей!» Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у, — жалобно заскулил пёс.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкаф зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделывать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.

Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить. <...>

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запуская пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.

— Он в домкоме ещё может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, в шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании снял

кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у прилоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет? Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, — не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дёрнулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида...

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждёт?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привёз.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне ещё? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... С убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате, приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде ве-

ликолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её:

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжёт, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до Гренады, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы ещё так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как её фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донёсся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «...А также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задёргал...

— Я думаю, — совершенно отошёл пациент, — но какая всё-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

* * *

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул в ду-

ло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростёртый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его белой маленькой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приёма по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел поцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным голосом Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настоженные, одним словом — мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное и всё, ну, всё... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.



Решаем читательские задачи

Выберите свой вопрос.

1. В чём заключался научный эксперимент профессора Преображенского?
2. Чем отличаются профессор Преображенский и доктор Борменталь от других героев повести? Какова роль доктора Борменталья в происходящих событиях?
3. Кто поддерживает профессора и кто является его противником в повести?
4. В чём заключается цель и смысл деятельности Швондера?
5. Чем новая власть чужда и неприятна профессору?
6. С кем сближается Шариков после удачной операции? Каких друзей он находит? Почему именно эти люди оказываются ему близки?
7. После каких событий Шариков начинает вести себя вызывающе?
8. Прочитайте страницы, посвящённые отношениям Шарикова с машинисткой Васнецовой. Как проявляются в этих отношениях моральные качества героев повести?

9. Каким образом удаётся усмирить Шарикова? О чём это говорит?
10. Почему Преображенский и Борменталь вынуждены решиться на повторную операцию?
11. Что нового о человеческой природе узнают герои повести?



Обсудим вместе

1. Чем отличается Шариков от других обитателей квартиры? Как проявляются его жизненные ценности? Попробуйте сформулировать за него: в чём цель жизни Шарикова?
2. Профессор смог превратить пса в человека, но затем сумел провести «обратную» операцию. Всемогуц ли профессор? Какие обязательства связаны с его профессией?



Давайте поспорим

1. Очевидно, что профессор Преображенский разочарован своим созданием. А чего ожидал профессор? Какие качества он желал бы видеть в Шарикове? Для чего профессор создал его?
2. Эксперимент не удался. Первым о просчёте говорит профессор Преображенский — но о просчёте Швондера! В чём заключается просчёт Швондера, о котором говорит профессор? А в чём заключается просчёт профессора Преображенского?



Литературная мастерская

1. Каким литературоведческим термином называется та форма рассказа, которая используется в первой части повести?
2. Опишите квартиру Филиппа Филипповича. Какие детали обращают на себя внимание? Что они символизируют?
3. Какое событие является кульминационным в повести «Собачье сердце»? Обоснуйте своё мнение, проанализировав сюжет.



Творческое задание

Завершён ли эксперимент профессора Преображенского? Опишите цель эксперимента, ход его проведения и результат. Подведите итог и сформулируйте уроки эксперимента.

Советуем прочитать

Булгакова Е. С. Дневник.

Мягков Б. С. Булгаковская Москва.

Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия.

Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова.



А теперь — в школьный кинотеатр!

Творчество М. А. Булгакова стало основой для многих замечательных фильмов и сериалов, а также театральных постановок. Обязательно посмотрите эти работы!



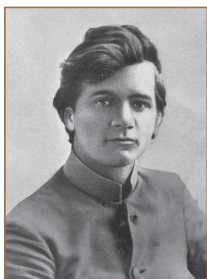
Творческое задание

Вы уже умеете составлять небольшую фильмографию. Составьте булгаковскую фильмографию. Какие из этих фильмов вы видели? Напишите рецензию — но не на самый понравившийся фильм, а, наоборот, на фильм, который вы считаете наименее удачной экранизацией. Напишите, чем вас не устраивает эта экранизация, какие актёрские работы не удовлетворили вас. Умение доказательно, корректно и достойно написать отрицательную рецензию всегда отличает профессиональных критиков. Постарайтесь этому следовать!



Виртуальная кладовочка

<http://gotourl.ru/13362> — сайт музея М. А. Булгакова в Москве.



Андрей Платонович Платонов (1899–1951)

С творчеством Андрея Платоновича Платонова вы уже знакомы. Он пробовал себя буквально во всех литературных жанрах, писал стихи и пьесы, очерки и романы, рассказы и литературно-критические статьи.

Не получив гуманитарного образования, Андрей Платонов всё же благодаря его человеческой мудрости, дававшей редкую возможность заглянуть в самую суть вещей, находил слова для невыразимого. Платонов выражал свои взгляды на предназначение человека. Для чего человек рождается на свет? Как он должен обустроить свою жизнь и жизнь своего народа? Почему человек смертен?

Участник Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны А. П. Платонов служил в действующей армии. Ему присвоили воинское звание капитана, и в качестве корреспондента газеты «Красная Звезда» он прошёл всю войну. В 1946 году он был демобилизован по болезни.

Писательская судьба не была к нему благосклонна. Опубликованные в 20-е годы XX века произведения вызывали противоречивые отклики. Совсем трудно стало публиковаться после того, как И. В. Сталин, прочитав повесть Платонова «Впрок» (1931), наложил на полях оскорбительную резолюцию.

Многие произведения так и не были поняты при жизни писателя. Многие произведения увидели свет спустя десятилетия после смерти писателя. И всё же иногда А. Платонову удавалось пробиться в печать. В 1927–1930 годы он создаёт свои самые значительные произведения – повесть «Котлован» и роман «Чевенгур». Новаторские по языку и содержанию, оба произведения изображают в духе мрачной абсурдистской сатиры мир советской действительности времён индустриализации и коллективизации.

Главное — писателю удалось найти свой особенный язык. Нет-нет, писал Платонов только на русском, но слова у него складывались в какие-то непривычные сочетания, поэтические метафоры, особенные фразы. В его прозе слышны и отголоски передовиц советских газет, и профессиональный жаргон работяг, и сказовая манера с её совершенно неповторимой повествовательной интонацией. Всё вместе это сливалось в удивительную языковую ткань, из которой сотканы его произведения.

В настоящее время подготовлено собрание сочинений А. П. Платонова. Появляются многочисленные монографии и диссертации, посвящённые его творчеству, проводятся различные конференции. В будущем вам предстоит знакомство с наследием этого самобытного русского писателя.

«С горечью и сердечностью», по выражению К. Г. Паустовского, написан и «Юшка» А. П. Платонова. Прочитайте рассказ, созданный автором в 1935 году, полностью.

ЮШКА

(В сокращении)

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать её, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слёзы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шёл в кузницу, а вечером шёл обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за своё жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил

в штанах и в блузе, чёрных и закопчённых от работы, прожжённых искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы ещё полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шёл по улице в кузницу, то старики и старики подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошёл, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошёл.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идёт! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шёл так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твёрдый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живёт на свете. Но Юшка шёл и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они ещё сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землёй попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно всё делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! — Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажнóй, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всём виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время своё горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живёшь?

Юшка глядел на неё с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твоё место нашёлся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит!

Даша смеялась.

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да быют тебя по расчёту.

— По расчёту они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый ещё!

— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал...

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живёт вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идёт в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живёт Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было все безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим.

Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работающие кузнечики издавали в траве весёлые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнувших влагой и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шёл весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смиренно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка всё более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошёл. Он брёл, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Весёлый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться...

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя...

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны...

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушёл домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

<...>

К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один тёмный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на неё: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо её было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец по добрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем...

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.

Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проводить меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришёл меня проводить. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет...

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повёл гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мёртвый Юшка, человек, кормивший её с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила учение на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто её любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца...

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулёзные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утешать страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все её знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, забыв давню самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.



Решаем читательские задачи

1. Чем запомнился Юшка рассказчику? Почему они были знакомы?
2. Как относились к Юшке земляки? Как вы могли бы объяснить такое отношение?
3. Радостно ли Юшке жилось с людьми? Тосковал ли он без них?
4. В чём заключался секрет Юшки?
5. Хозяйская дочь спрашивала Юшку, зачем он живёт. Как отвечал ей Юшка? А как бы вы ей ответили, прочитав рассказ до конца?



Обсудим вместе

- В образе Юшки две черты никак не соответствуют друг другу. Автор не противопоставляет их прямо, но часто подчёркивает каждую из них. Что это за особенности? Помогают ли они лучше понять идею рассказа?
- Юшка запомнился людям своей кротостью и душевной щедростью. Порой читателю кажется, что душа воспаряет над ним и покидает телесную оболочку. Найдите в тексте рассказа-притчи фрагменты, в которых рассказчик или герои рассуждают об этом.



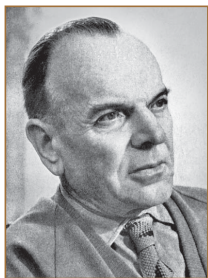
Давайте поспорим

- Можно ли считать Юшку свободным человеком? От чего он был свободен?
- Что привязывало Юшку к городу, где к нему относились жестоко, порой бесчеловечно?



Литературная мастерская

Одной из наиболее ярких отличительных черт платоновского творчества является его оригинальный, не имеющий аналогов в русской литературе язык, который часто называют «первобытным», «нескладным», «самодельным» и т. п. В творчестве А. П. Платонова форма и содержание составляют единое, неразрывное целое, то есть сам язык платоновских произведений является их содержанием. Его язык настолько оригинально ёмок, что, по мнению специалистов, его произведения не поддаются переводу на другие языки.



Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968)

Творчество Паустовского само по себе есть проявление огромной, неистребимой любви к русской земле, к русской природе.

Вл. А. Солоухин

«В нём сызмала живёт „муза дальних странствий“. Его любимым предметом в гимназии была география. Ему грезились тёмные тисовые леса, олеандры, раскаты тропической грозы, самумы; ветер необычайного доносил до него звуки прибоя Атлантического океана и звон эоловой арфы... Он жил в красочном мире <...>, созданном воображением. Ему грезились необыкновенные страны. <...> Потребовались годы и многие дальние путешествия, чтобы уйти от экзотики. <...> Немало повидав речушек и озёр, берёзовых рощ и пустошей на просторах родной страны, писатель убедился, что реальный мир куда богаче и красивее воображаемого» — так говорил о творчестве К. Г. Паустовского литературный критик Василий Ильин. Вы согласитесь с его словами, если прочтёте книги писателя, в которых слышится не только шум далёких океанов, но и пение птиц над просыпающейся Окой, шелест грибных дождей и мягкий стук падающих в тарусских садах яблок.

Способность и умение мечтать, а также тягу к искусству Паустовский, по собственному признанию, унаследовал от родителей. «Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благоговейно любили театр. До сих пор я хожу в театр, как на праздник», — вспоминал он в автобиографии «Коротко о себе».

Советуем прочитать

Паустовский К. Г. Книга о жизни

Это произведение поможет вам лучше познакомиться с судьбой Паустовского. Думаем, сейчас наиболее интересной вам покажется первая из шести автобиографических книг писателя — «Далёкие годы», а в дальнейшем с удовольствием вы читаете остальные: «Беспокойная юность», «Начало неведомого века» и др.

А вот что рассказывает о себе писатель в краткой автобиографии:

«Учился я в Киеве, в классической гимназии. Нашему выпуску повезло: у нас были хорошие учителя так называемых „гуманитарных наук“ — русской словесности, истории и психологии. Литературу мы знали и любили и, конечно, больше времени тратили на чтение книг, нежели на приготовление уроков.

Лучшим временем — порой безудержных мечтаний, увлечений и бессонных ночей — была киевская весна, ослепительная и нежная весна Украины. Она тонула в росистой сирени, в чуть липкой первой зелени киевских садов, в запахе тополя и розовых свечах старых каштанов. В такие вёсны нельзя было не влюбляться в гимназисток с тяжёлыми косами и не писать стихов. И я писал их без всякого удержу, по два-три стихотворения в день. <...>

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась, и с тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и ученье. Перебивался я довольно тяжёлым трудом, так называемым репетиторством. В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале „Огни“. Это было, насколько я помню, в 1911 году.

С тех пор решение стать писателем завладело мной так крепко, что я начал подчинять свою жизнь этой единственной цели. В 1912 году я окончил гимназию, два года пробыл в Киевском университете и работал и зиму и лето всё тем же репетитором, вернее, домашним учителем.

К тому времени я уже довольно много поездил по стране (у отца были бесплатные железнодорожные билеты). В 1914 году я перевёлся в Московский университет и переехал в Москву. Началась Первая мировая война. Меня, как младшего сына в семье, в армию по тогдашним законам не взяли. Шла война, и невозможно было сидеть на скучноватых университетских лекциях. Я томился в унылой московской квартире и рвался наружу, в гущу жизни, о которой так мало знал.

Я пристрастился в то время к московским трактирам. Там за пять копеек можно было заказать „пару чая“ и сидеть весь день в людском гомоне, звоне чашек и бряцающем грохоте „машины“ — оркестриона¹. Трактиры были народными сборищами. Кого только я там не встречал!

¹ *Оркэстрион* — здесь: самоиграющий механический музыкальный инструмент, имитирующий звучание симфонического оркестра.

Извозчиков, юродивых, крестьян, рабочих, толстовцев¹, молочниц, цыган, белошвеек, ремесленников, студентов... и бородатых солдат „ополченцев“. Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писание туманных своих рассказов и „уйти в жизнь“. Я воспользовался первой же возможностью вырваться из скудного своего домашнего обихода и поступил вожатым на московский трамвай.

Поздней осенью 1914 года в Москве начали формировать несколько тыловых санитарных поездов. Я ушёл с трамвая и поступил санитаром на один из этих поездов.

Мы брали раненых в Москве и развозили их по глубоким тыловым городам. Тогда я впервые узнал и всем сердцем и навсегда полюбил среднюю полосу России с её низкими и, как тогда мне казалось, сиротливыми, но милыми небесами, с молочным дымком деревень, ленивым колокольным звоном, позёмками и скрипом розвальней, мелкоколёсьем и унавоженными городами — Ярославлем, Нижним Новгородом, Арзамасом, Тамбовом, Симбирском² и Самарой.

Во время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам. <...>

Осенью 1915 года я перешёл с поезда в полевой санитарный отряд и прошёл с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне засаленного обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два моих брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры. Я вернулся к матери, но долго не смог высидеть в Москве и снова начал свою скитальческую жизнь. Февральская революция застала меня в глухом городке Ефремове бывшей Тульской губернии. Я тотчас уехал в Москву, где уже шли шумные митинги на всех перекрёстках, но главным образом около памятников Пушкину и Скобелеву³.

Я начал работать репортёром в газетах, не спал и не ел, носился по митингам и впервые познакомился с двумя писателями — другом Чехо-

¹ *Толсто́вец* — последователь учения Льва Николаевича Толстого.

² *Симби́рск* — ныне город Ульяновск.

³ *Ско́белев Михаил Дмитриевич* (1843–1882) — выдающийся русский военачальник, генерал, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., герой Шипки и Плевны. Конный памятник ему был установлен в Москве в 1912 г., а в 1918 г. снесён. На его месте ныне памятник Юрию Долгорукому (Тверская улица).

ва Гиляровским и начинающим писателем — волгарём Яковлевым. После Октябрьской революции и переезда Советского правительства в Москву я часто бывал на заседаниях ЦИКа¹, несколько раз слышал Ленина, был свидетелем всех событий в Москве в то небывалое, молодое и бурное время. Потом опять скитания по югу страны, снова Киев, служба в Красной Армии в караульном полку, бои со всякими отпетыми атаманами. Из Киева я уехал в Одессу, начал работать там в газете „Моряк“ — пожалуй, самой оригинальной из всех тогдашних советских газет. Она печаталась на обороте разноцветных листов от чайных бандеролей. В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. Среди сотрудников „Моряка“ были Катаев, Ильф, Багрицкий <...>. В Одессе я жил у самого моря и много писал, но ещё не печатался, считая, что ещё не добился умения овладевать любым материалом и жанром.

Вскоре мною снова овладела „муза дальних странствий“. Я уехал из Одессы, жил в Сухуме, в Батуми, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе, пока, наконец, не вернулся в Москву.

Несколько лет я работал в Москве редактором РОСТА² и уже начал время от времени печататься. Первой моей книгой был сборник рассказов „Встречные корабли“. Почти каждая моя книга — это поездка. Или, вернее, каждая поездка — это книга. После поездки в Потю я написал „Колхиду“, после изучения берегов Черноморья — „Чёрное море“, после жизни в Карелии и в Петрозаводске — „Судьбу Шарля Лонсевиля“ и „Озёрный фронт“. Во время Великой Отечественной войны я был военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужно две вещи: поездки по стране и сосредоточенность.

В послевоенные годы я много ездил по Западу — был в Польше, Чехословакии, Болгарии, Турции, Италии — жил на острове Капри, в Турине, Риме, в Париже и на юге Франции — в Авиньоне и Арле. Был в Англии, Бельгии — в Брюсселе и Остенде, Голландии, Швеции и мимоходом ещё в других странах».

Из автобиографии К. Г. Паустовского «Коротко о себе», 1966

¹ ЦИК — Центральный исполнительный комитет, высший орган государственной власти СССР в 1922–1936 гг.

² РОСТА — Российское телеграфное агентство. Для него рисовал плакаты и писал стихи В. В. Маяковский. Вспомните стихотворение о необыкновенном происшествии, случившемся с поэтом.



Обсудим вместе

1. Каким вы представляете К. Г. Паустовского? Какие события в его жизни считаете самыми важными? Расскажите о них.
2. Опираясь на материалы автобиографии, подготовьте сообщение о том, как росло мастерство писателя. Прочитайте выразительно слова Паустовского о том, что является основой его творчества.
3. Перечитайте эпиграф к разделу и подтвердите высказывание Владимира Солоухина, используя текст автобиографии.

Советуем прочитать

«Телеграмма», «Снег», «Австралиец со станции Пилёво», «Лёнька с Малого озера», «Робкое сердце», «Прощание с летом», «Старый повар» и цикл очерков «Мещёрская сторона».

Ознакомьтесь с фрагментами из книги очерков К. Г. Паустовского «Золотая роза».

ЗОЛОТАЯ РОЗА

(В сокращении)

Литература изъята из законов тления.

Она одна не признаёт смерти.

*М. Е. Салтыков-Щедрин*¹

Всегда следует стремиться к прекрасному.

*Оноре де Бальзак*²

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моём понимании писательства и моём опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-ни-

¹ М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) — русский писатель второй половины XIX в.

² Онорé де Бальзак (1799–1850) — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

будь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своём квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были ещё покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан¹ заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы ещё несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клочок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

¹ *Ги де Мопассан* (1850–1893) — французский писатель. Тема любви во всей её многообразии — основа его творчества.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжёлой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего ещё ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить её к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка всё время молчала. Даже на рыб, вылетающих из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет как мог заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждёт от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять её? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но всё же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет всё чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбацкий посёлок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из неё эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблёскивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шу-

мел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в посёлке удивлялись, что старуха не продаёт свою драгоценность. Она могла бы выручить за неё большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что её подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда ещё смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете, — говорила мать Шамета. — Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нём не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из посёлка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник, бородатый, весёлый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчёсывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Всё может быть, — ответил Шамет. — Найдётся и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашёл на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили её всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Чёрт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за поношенной челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замаяли, — престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнём, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там

такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привёз девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатым жёлтым ртом — тётке Сюзанны. Старуха была вся в чёрном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев её, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шёпотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. — Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушёл. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из её косы. И чёрт её знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушёл в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в лёгком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в жёлтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета лёгкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец её умер от ран.

Шамет всё собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нём позабыла.

Он ругал себя свиньёй, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул её в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с чёрными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в эту пору в Сене очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома, — быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом. — Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привёз тебя к этой поганой тётке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчёсаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. — Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я всё помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет. — Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, — погладил и поцеловал её блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его пиджака. Но Сюзанна прижалась к его плечу ещё крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо её ни о чём расспрашивать.

— У меня, — торопливо сказал он, — есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности. <...>

Да, с Сюзанной всё случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актёр. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нём. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актёру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су¹ на чай.

Вскоре актёр приехал в фиакре² за Сюзанной. И всё было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слёзы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, — проворчал ей напоследок Шамет, — то будь счастлива.

— Я ничего ещё не знаю, — ответила Сюзанна, и слёзы заблестели у неё на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка, — недовольно протянул молодой актёр и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна. — Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет. — Во всяком случае не этот господинчик поднесёт тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актёр пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он

¹ Су — мелкая монетка.

² Фи́акр (устар.) — в Западной Европе: лёгкий наёмный экипаж.

перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать её тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придёт в голову судебным крючкам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было всё-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре¹ и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжёлые зёрна падали на землю, а лёгкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днём приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность поношенного уroda! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжёлым ругательством отшвыривал прочь. Луч-

¹ *Кюре* — католический священник.

ше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету её адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом всё его ожидание ласковой и лёгкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колющий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завёрнутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушёл, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показала ювелиру даже прекрасной.

«Чего не даёт жизнь, то приносит смерть», — подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи. <...>

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, — всё это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою „золотую розу“ — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспоминать, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает ещё в юности, а может быть, и в детстве.

<...> Меня увлекало самоё звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было определённое море — Чёрное, Балтийское или Средиземное, — а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе всё разнообразие красок, все преувеличения, всю безудержную романтику, далёкую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, весёлое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки.

В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь это экзотика тропических стран или гражданской войны. <...>

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. <...>

МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью. <...>

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путём сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи. <...>

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землёй электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается всё это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и ещё несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее на душу слово, сон, отдалённый голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть всё, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным. <...>

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремлённых в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера. <...>

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъём не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же, как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Критики, — сказал он вдобавок, — смешивают вдохновение с восторгом». Так же, как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием. <...>

Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснётся»

(Пушкин), «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов), «Приближается звук, и, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учутья ветр с цветущих берегов.

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитаться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но, как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесплодно, не одарив собою людей.

БУНТ ГЕРОЕВ

<...> Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом ещё впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

<...>

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут бельё в прорубях. Дым. Надпись на

колокольчике у Александры Ивановны: „Я вишу у дверей, — звони веселей!“ „И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой“. Их зовут „дарвалдаями“. Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками, — страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стёкла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Всё как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певщица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с жёлтыми пятнами на зелёном сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков всё просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то всё приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте её сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Берёзовый дым. Настройщик, — все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Всё ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться пла-

ну и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель. <...>

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, — говорил Алексей Николаевич Толстой, — не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведёт его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула, и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя не сводится лишь к тому, чтобы записывать всё по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, всем строем его души.

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

К. Н. Батюшков

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает. <...>

Жизненный материал — всё то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни», — не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала — живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем

повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни. <...>

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в неё и станут на место. Писатель часто бывает удивлён, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в своё время гравёра Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная её дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенёс работу на вечер. Было жаль просиживать многие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или берёзы. Мне нравилось разбивать лёд, доставать эти замёрзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на по-

доконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от тёмных облаков. Они так низко нависали над землёй, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была чёрная, с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почерневшую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твёрдо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединённой с лёгкостью на душе и простыми мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрёпанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А всё, что называется материалом, — люди, события, отдельные частности и подробности, — это, как я знал по опыту, надёжно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то всё это тотчас появится в памяти и перейдёт на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах берёзового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова¹ и портрет Полины Виардо².

Стёкла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

¹ К. П. Брюллов (1799–1852), В. Г. Перов (1834–1882) — русские художники.

² Полина Виардо (1821–1910) — французская певица, близкий друг И. С. Тургенева.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запylённый букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щёточка, чтобы стирать с ломберного стола¹ записанные мелком карточные взятки. <...>

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюбочка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот ещё! Чего выдумали!

Я её стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот ещё! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или жёлтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго². Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот ещё! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у неё хранились все её богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была ещё девушкой, — воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго

¹ Ломберный стол — складной стол для карточной игры.

² Виктор Гюго (1802–1885) — французский писатель, глава и теоретик французского романтизма.

старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвёртый год как не приезжает — забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не ровён час так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, — в нём она не была с ранней весны, всё не пускала слабость.

— Дорогой мой, — сказала Катерина Ивановна, — уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нём я ещё девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый тёплый салопчик, тёплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неё рукой и заплакала.

Я крепко держал её, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слёз.

— Не дай вам бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мать! <...>

А ещё через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У неё ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть ближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажёл фонарь и пошёл в сельскую больницу за доктором. Больница была далеко в лесу. Чёрный ветер нёс с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки <...>.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал её полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чём её хоронить.

Я вскрыл конверт, прочёл несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, — приказ о том, что на неё надеть после смерти, — и отдал записку женщинам, что пришли утром прибрать Катерину Ивановну в последний её путь.

Потом я пошёл на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала прибранная на столе, и я оставился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обёрнут вокруг её ног. Из-под него были видны маленькие чёрные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к её корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, то можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Всё рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — всё это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжёлой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не всё увиденное и передуманное тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это и происходит постоянно <...>. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа <...>.

АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название ещё драгоценнее самой вещи.

Н. В. Гоголь

РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но всё же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него ещё не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но всё своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещён изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнём.

Кажется, что если взглянуть в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звёзд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам всё же кажется необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передаёт понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передаёт медленный ночной блеск далёкой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нём нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу

это слово. Но я далёк от мысли навязывать это восприятие другим. Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озёр, лугов и полей, цветов и трав — в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить ёмкий и меткий словарь, у нас есть помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придётся повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нём напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространённого пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и берёза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашёл черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелёк и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца всё время подыма-

ется тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и жёлтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошёл на дно неистово барахтавшийся жук. — Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть, — согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова, — неожиданно сказал лесник и смущённо усмехнулся. — И вот, скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не даёт покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружьё и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идёшь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, — и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдёшь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек, простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Всё его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льётся-течёт через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

ЯЗЫК И ПРИРОДА

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается своё счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечеряющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далёкими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди морозящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чём говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чём он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чём пишет, то самые простые и порой даже стёртые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста. Но вернёмся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голоса по дворам пе-

тухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — всё это приметы дождя. А незадолго перед дождём, хотя ещё и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают капать первые капли. Народное слово «кrapать» хорошо передаёт возникновение дождя, когда ещё редкие капли оставляют тёмные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождём. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберёмся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льётся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, жёлтые лисички, боровики, румяные рыжики, опёнки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на круп-

ные слёзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тёсовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, стеной.

Всё это только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мёртвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазёр! <...>

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», — освещают его по ночам — и от этого хлеб наливается быстрее.

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землёй пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет тёплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В тёплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и брёвна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: всё равно не отогреешь озябшую землю и не вернёшь убывающий солнечный свет.

Всё никнет, только человек не сдаётся. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над сёлами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стёклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдёт за край земли. Тогда она овладевает меркнувшим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звёзды, а заря ещё долго дотлевет над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда¹ — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит.
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате своей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц и света
Адмиралтейская игла,
И, не пуская мглу ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них ещё всё волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

¹ *Ленинград* — город Санкт-Петербург с 1924 по 1991 г.

Тот народ, который создал такой язык, — поистине великий и счастливый народ.

КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что чаще всего такой писатель, добрый гений, бывает далёк от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного писателя — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар¹ называл своим вдохновителем Диккенса². Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля³ вызывает желание писать, причём я пишу вещи, настолько далёкие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Очевидно, и для него можно найти объяснение. Упомянул я об этом лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных на первый взгляд обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной плодовитости.

«Осень подходит, — писал Пушкин Плетнёву⁴. — Это — любимое моё время — здоровье моё обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настанет».

¹ *Аркадий Петрович Гайдэр* (1904–1941) — советский детский писатель, автор повести «Тимур и его команда» и многих других.

² *Чарльз Диккенс* (1812–1870) — английский писатель XIX в., прославленный создатель комических характеров.

³ *Стендаль* (1783–1842) — французский писатель XIX в., один из основоположников психологического романа.

⁴ *Пётр Александрович Плетнёв* (1792–1866) — известный литературный критик и друг А. С. Пушкина.

Догадаться, в чём тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с её чёткостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редуют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнажённые ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьёт чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Боратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зёрнах дум её собираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гёте, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный творческий процесс поэта:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем.
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо — к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут.

Это поразительный анализ творчества. Его можно было создать только в порыве высокого душевного подъёма.

У Пушкина была ещё одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновения, которые он никогда не старался вызвать насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в Мещёрских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошёл мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошёл мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошёл мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я всё молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай, — сказал он, — не валяй дурака! Всё равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин¹! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну, — сказал я, — выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «„Пострадал, старик, пострадал!“ — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я. — Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня. — К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, чёрт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

¹ Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — русский писатель, драматург, журналист.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять начал ходить у меня под окном.

— Ну, какую ещё гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай, — сказал Гайдар, — раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты, знаешь, куда! — сказал я. — Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников¹! — сказал Гайдар, но всё-таки ушёл.

Через пять минут он возвратился и ещё издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил её. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он. — Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг он добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс советик!²

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар ещё несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришёл ко мне в баньку весёлый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать её.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижёры, — наставительно ответил Гайдар, — кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

¹ *Иван Иванович Лажечников* (1792–1869) — русский писатель, один из зачинателей русского исторического романа.

² До свидания, господин русский советский писатель! (*франц.*)

И он прочёл мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.
— Ты где-нибудь чего-нибудь всё-таки здорово напутал, — сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар. — Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его присмотрел. У той старухи — помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принёс рукопись и второй раз прочёл повесть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным и громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озёрам и старицам. Всё это каким-то неувлимым образом помогало нам писать. <...>

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего <...>.

Чехов в молодости мог писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта лёгкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чём попало. Всё кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без всяких поправок. <...>

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка.

Вообще всё в лесу — каждый замшелый пенёк и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцес-

су, маленькую мошку с прозрачными зелёными крылышками, — всё это может обернуться сказкой. <...>

Что такое воображение? <...>

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями.

— А почему? — спросит нас собеседник. — Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать её целиком и во всём разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в 1814 году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам Акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте¹ и слышать речи Марата². Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звёздами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать всё, хочет пережить всё. И вот его воображение даёт ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни. <...>

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго³.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потёртом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Что происходило в прошлой жизни у гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один

¹ *Конвент* — здесь: законодательный орган с практически неограниченной властью во времена Великой французской революции (1792–1795).

² *Марат, Жан-Поль* (1743–1793) — политический деятель, один из лидеров Французской революции конца XVIII в.

³ *Гидальго* — идалго, испанский дворянин.

и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своём доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к чёрному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазнённый речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл. <...>

Так они плыли и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В этой траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огигать это море травы, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с её берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял её к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где все горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этого человека.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил её старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго её принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел её, озарённую вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, более отчётливо, чем в первый раз. С отвесных её берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королём, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счёт каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до неё не доплывёт. А если и увидит её, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи весёлых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окружённая пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в гранёных хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты дало мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не увидел её и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От этого у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса, и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамёна.

Гидальго упал лицом на тёплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но всё же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рождённое жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Эта вера в воображаемое и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемого в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, литературой, поэзией. <...>

Есть крепкие минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обростут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погружённой в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства. <...>

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

1955



Выскажите своё отношение к прочитанному

1. Какое впечатление произвела на вас книга К. Г. Паустовского? Какие главы особенно привлекли ваше внимание? Почему? Подготовьте пересказ этих эпизодов.

2. Что добавила «Золотая роза» к вашему представлению о К. Г. Паустовском? Какими качествами, по-вашему, должен обладать настоящий писатель? Подтвердите свои слова, обратившись к тексту.



Обсудим вместе

1. Перечитайте эпиграф к повести и скажите, какова, по мнению К. Г. Паустовского, главная цель писателя. О чём рассказывает эта книга?

2. Какую роль для понимания смысла произведения играет история старого мусорщика Жана Шамета? В чём, по-вашему, смысл метафоры «золотая роза»?

3. Какова роль вдохновения в писательском труде? Прочитайте выразительно определения вдохновения, приведённые в главе «Молния». Какое из них представляется вам наиболее понятным и близким? Попробуйте дать своё определение этому состоянию.

4. Почему, по-вашему, К. Г. Паустовский сравнивает замысел с молнией? Приведите примеры, подтверждающие ваше предположение.

5. Постарайтесь объяснить название главы «Зарубки на сердце». Как вы думаете, почему в качестве эпиграфа К. Г. Паустовский выбрал строки из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений»? Какие «зарубки на сердце» могли бы стать материалом для вашего творчества?

6. О каких свойствах русского языка говорится в главе «Алмазный язык»? Что, по мнению автора, помогает художнику открыть для читателя скрытые свойства языка?

7. Что интересного и нового вы узнали о работе писателей над своими произведениями? Что вы взяли бы себе на заметку в качестве совета? Расскажите более подробно о творческом процессе А. С. Пушкина или А. П. Гайдара.

8. Перечитайте фрагмент из главы «Как будто пустяки», где рассказывается история старого гидальго. Автор говорит, что «вряд ли нужно истолковывать этот рассказ». Попробуйте всё же дать своё истолкование этой легенде и подумайте, какова роль воображения, а значит, художественного вымысла в литературе.



Решаем читательские задачи

1. Как, по мнению К. Г. Паустовского, создаётся книга? Какие этапы работы над художественным произведением вы бы выделили?

2. Перечитайте фрагменты из главы «Молния», рассказывающие о появлении замысла. Известно ли вам, как возник замысел какой-либо из прочитанных вами книг? Расскажите об этом.

3. С помощью каких образов и изобразительно-выразительных средств передаются «ощущение осени, тот строй чувств и мыслей», которые она вызывает, в главе «Зарубки на сердце»? Какое настроение создаётся с помощью осеннего пейзажа и какую роль он играет в тексте? Какие ассоциации с поздней осенью можно провести в тек-

сте главы, как эти ассоциации помогают понять душевную драму героини?

4. Объясните эпитет «алмазный», который К. Г. Паустовский даёт родному языку.



Литературная мастерская

1. «Да Вы кто — прозаик или поэт? Пожалуй, поэт. Да, Паустовский был поэт, художник, создатель целого мира образов» — так вспоминал о нём Рувим Фраерман в очерке «Любимый друг». Вы, конечно, помните, что такое стихотворение в прозе. Выберите из повести фрагменты, напоминающие поэтические строки, выразительно прочитайте и определите их тему. Покажите, с помощью каких художественных средств создаются центральные образы этих фрагментов, и докажете, что критики не зря называют «Золотую розу» лирической повестью.

2. В главе «Родник в мелколесье» найдите цепочку однокоренных слов, связанных со словом «родник». Как бы вы продолжили эту цепочку? Если у вас возникли затруднения, обратитесь к словарю. Как, на ваш взгляд, слова К. Г. Паустовского о «скрытых корнях языка» перекликаются со словами Н. В. Гоголя, вынесенными в эпиграф?



Давайте поспорим

1. Перечитайте сюжетную канву рассказа «Снег», приведённую в главе «Бунт героев». Предложите свой вариант развития событий, расширив краткие записи автора, обоснуйте его. Докажите, что композиция рассказа и его сюжет будут построены именно так, а не иначе. Поспорьте с товарищами о главных героях. Какими вы видите их? Вы сможете проверить свои догадки, прочитав рассказ К. Г. Паустовского «Снег».

2. К. Г. Паустовский говорил, что «Золотая роза» не универсальное руководство к писательскому труду. Но всё же в повести можно найти немало советов писателю. Составьте свой список «секретов творчества», используя высказывания Паустовского, и обсудите их. Например, начать можно с того, что «поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель».



Творческие задания (исследования, проекты)

1. Прочитайте рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма» и сопоставьте его с исходным жизненным материалом, на основе которого он был создан. Какие эпизоды вошли в рассказ без изменений, а что писатель добавил? Поразмышляйте, какие дополнительные темы появились в рассказе, и сделайте вывод о роли жизненной правды и художественного вымысла в произведении.

2. «Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погружённой в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства», — пишет К. Г. Паустовский, сравнивая художественный образ с предметом, обросшим кристаллом ассоциаций. Попробуйте провести такой же опыт: выберите какое-нибудь природное явление или предмет и напишите, какие ассоциативные связи рождаются в вашем воображении, создавая художественный образ, с помощью каких эпитетов и метафор, олицетворений вы бы его описали. Например, осень или зима, море или хвойный лес, раннее утро или вечерняя заря. Повесть Паустовского поможет вам в этом.

Советуем прочитать повесть «Золотая роза» полностью.



Литературная мастерская

Критики часто называют «Золотую розу» К. Г. Паустовского научно-художественной повестью из-за необычной «мозаичной» композиции и отсутствия привычного для читателя сюжета, который помогает легко воспроизвести события. Книга не была закончена автором, но даже в той части, которая представлена в учебнике, сложно определить, скажем, завязку действия или кульминацию. Подобная бессюжетность и описательность более характерна не для повести и рассказа, а для очерка или эссе.

Очерк — по преимуществу описательный прозаический жанр с ярко выраженным личностным авторским началом. Для очерка характерны свободная композиция, отрывочность, большое количество описаний и — самое главное — заострённость на образе автора. Мы видим мир глазами писателя, раздумываем над его наблюдениями, вступаем с ним в невидимый разговор, к которому он нас приглашает.

Очерк бывает публицистическим и художественным. Публицистические очерки часто печатают в газетах, а очерки художественные, написанные ярким, образным языком художественной литературы, не только сообщают нам факты, характерные для окружающей действительности, но изображают их в соответствии с законами искусства.

- Как правило, очерк совмещает жанровую сценку, описательный фрагмент и рассуждения автора. Попробуйте найти примеры подобного совмещения в любой главе «Золотой розы». Докажите, что перед нами художественный очерк: укажите эпитеты, метафоры и олицетворения, с помощью которых создаются художественные образы, говоря словами К. Г. Паустовского, «мысль становится произведением искусства». Какой из образов, по-вашему, является центральным в главе? Подумайте, какую роль играет выбранная вами глава в композиции всей повести.

Эссе (франц. *essai* – попытка, опыт, набросок) – прозаическое произведение небольшого объёма со свободной композицией, содержащее индивидуальный взгляд автора на какую-либо проблему, но не претендующее на полное и основательное её рассмотрение. Эссе, как и очерк, отличается образностью, афористичностью стиля и предполагает разговорно-доверительную манеру общения автора с читателем.

- Перечитайте вступление к «Золотой розе» и скажите, как сам автор характеризует свою книгу. Найдите в повести и выразительно прочитайте фрагменты, в которых чувствуется интонация автора и слышится его обращение к читателю.

- Вспомните, что такое афоризм. Составьте небольшую подборку высказываний К. Г. Паустовского о творчестве, которые можно назвать афористическими.



Творческие задания (исследования, проекты)

Попробуйте сами написать очерк или эссе. Для этого определите тему, которую вы будете раскрывать. Подумайте, какой случай из жизни можно подобрать, чтобы проиллюстрировать ваши размышления. Не забудьте о необходимости подробных описаний, найдите образительно-выразительные средства, которые сделают ваше описание образным. Представьте себе, кому будет адресовано ваше произведение, какими мыслями вы хотите поделиться с читателями, какое настроение у них создать. Если вам сложно придумать свою тему, предлагаем

написать эссе «В мире рассказов К. Г. Паустовского»: вы сможете рассказать о своём восприятии произведений этого автора, о том, что показалось вам особенно важным, волнующим. Удачи!



Виртуальная кладовочка

<http://gotourl.ru/13440> — московский литературный музей-центр «Мир Паустовского»; сайт предоставляет возможность для проведения виртуальной экскурсии.



Творческие задания (исследования, проекты)

Используя материалы сайтов, подготовьте и проведите виртуальную экскурсию по музею К. Г. Паустовского в Москве, а также по другим литературным местам, связанным с его именем, в Москве, Киеве, Тарусе. При подготовке экскурсий используйте тексты произведений писателя.



Вячеслав Алексеевич Пьецух (1946–2019)

Вячеслав Алексеевич Пьецух родился в Москве. После окончания Московского государственного педагогического института преподавал историю в одной из московских школ. Писать Вячеслав Алексеевич начал, когда ему было 27 лет.

Долгие годы он вынужден был работать по ночам: рос маленький сын, надо было кормить семью. В 1982 году Пьецух смог заняться писательством профессионально: он работает в журнале «Сельская молодёжь», одном из лучших молодёжных журналов в ту пору. Первую книгу, которая называлась «Алфавит» (1983), цензура сократила на треть.

С конца 80-х годов XX века его книги выходят в свет одна за другой: Пьецух быстро стал популярным прозаиком. Он пишет романы и рассказы, по его сценарию снят многосерийный фильм.

В 1990-е годы у российских литературных журналов резко упали тиражи. Именно в это время Вячеслав Пьецух возглавил популярный журнал «Дружба народов». В течение нескольких лет он был главным редактором, и журнал смог сохранить несколько тысяч подписчиков.

Отличительная черта стиля Вячеслава Пьецуха — ирония. Вы помните, это очень тонкий инструмент: стоит чуть-чуть переборщить — и получишь обратный результат. Читатель всё время чувствует, что речь идёт о вещах серьёзных, но автор говорит о них с усмешкой.

О такой писательской манере говорят — «игровая». Пьецух любит переиначивать известные исторические факты и литературные сюжеты. Так, роман-фантазия «Роммат» строится на допущении, что восстание декабристов увенчалось успехом. И вот, исходя из этой несбывшейся исторической ситуации, Пьецух начинает своё размышление.

Так же Вячеслав Пьецух поступает порой и с литературными сюжетами. «Новая московская философия» — это переиначенный роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», а «История города

Глупова» — продолжение «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Только не спешите читать эти романы, пока не прочитаете классические в 10 классе. Лучше почитайте его «Рассуждения о писателях» и «Дневник читателя» — интересные и умные рассказы о тех, чьи произведения вы будете читать ещё долгие годы.

ПРОМЕТЕЙЩИНА

В субботу, после уроков, на школьном дворе за хозяйственным сарайчиком семиклассник Верёвкин, как всегда, поджидал клиентов. Он сидел на мусорном баке, положив на колени сумку от противогаза, в которой он носил учебные принадлежности, и болтал ногами, обутиыми в резиновые сапоги.

Клиентов явилось трое: Болонкин из четвёртого класса и два пятиклассника — Никифоров и Фомин. Они пришли и встали перед Верёвкиным в одинаковых позах...

— Ну что, друзья? — сказал им Верёвкин. — Какая у нас сегодня будет повестка дня?

— Лично у меня двойка по математике, — сказал Болонкин и шмыгнул носом. — Родители голову оторвут, это к бабке ходить не нужно.

Верёвкин по-взрослому сделал рукой, давая понять, что всё будет хорошо, и вопросительно кивнул пятиклассникам.

— У меня замечание в дневнике, — сказал пятиклассник Никифоров, глядя куда-то в сторону.

— За что? — строго спросил Верёвкин.

— За критическое высказывание.

— Интересно! — воскликнул Верёвкин и сделал рожу: оттянул нижние веки указательными пальцами чуть ли не до ноздрей. — А конкретно?

— Конкретно дело было так. Значит, сегодня утром по учебной программе был фильм «Культура Древнего Рима». Я и говорю на уроке истории: «Хорошенькое дело, — говорю, — по телевизору сегодня фильм „Культура Древнего Рима“, а телевизора в классе нет». Историчка отвечает: «На вас, дармоедов, телевизоров не напасёшься». Я говорю...

— Вообще, можно и покороче, — перебил Верёвкин.

— Я и так короче. Значит, я говорю: «Денег, — говорю, — в государстве огромное количество, могли бы по телевизору в класс поста-

вить». Историчка говорит: «У государства и без того полно расходов. На сельское хозяйство надо? На транспорт надо? На милицию тоже надо». Тут я и говорю: «Если бы побольше давали денег для школ, не надо было бы тратиться на милицию». Вот за это высказывание она мне замечание и влепила.

— И правильно сделала! — сказал Верёвкин. — Не мели языком.

— А у меня вот такая проблема, — вступил пятиклассник Фомин. — Я из химического кабинета украл банку плавиковой кислоты. Мне для опытов нужно, потому что я кое-что мастерю.

— Поймали? — поинтересовался Верёвкин.

— Нет, не поймали, но могут поймать.

Верёвкин как-то умственно помолчал и вслед за этим стал подводить итоги.

— План работы ясен, — сказал он, почёсывая переносицу. — Так-са, друзья, будет такая: за двойку по математике пятьдесят копеек, за критическое высказывание восемьдесят копеек, за банку с кислотой — рубль.

— Чтой-то дорого, — несмело сказал Фомин.

— А ты не воруй!

Мальчишки, вздыхая, отсчитали Верёвкину затребованные деньги и затем всей компанией тронулись со двора.

Сначала пошли к двоичнику Болонкину. Пятиклассники остались дожидаться внизу, а Верёвкин с потерпевшим отправились объясняться.

Дома у Болонкиных была одна мать, которая занималась на кухне какими-то хозяйственными делами. Впрочем, как только Верёвкин с потерпевшим разулись и прошли в детскую комнату, она немедленно возникла в дверном проёме.

— Ну, как там у нас на учебном фронте? — спросила мать, вытирая руки о кухонное полотенце.

Болонкин открыл было рот, чтобы всё испортить, однако Верёвкин успел его упредить:

— Что касается вашего сына, — сказал он на печальной-печальной ноте, — то с ним всё в порядке. Он даже если двойку получит, то это будет эпизод, несчастный случай на производстве. Хотя эпизод, конечно, закономерный, потому что ваш сын одарённый мальчик, а выдающихся людей преследуют неудачи. Например, Чехов был второгодник,

Некрасов целых три года сидел в пятом классе, Белинского за плохую успеваемость даже исключили из университета...

— Не может быть! — сказала Болонкина и испуганно всплеснула кухонным полотенцем.

— Правда, правда! — горячо подтвердил Верёвкин. — И Пушкин учился с тройки на двойку, и... ну, одним словом, всех выдающихся людей с самого начала преследовали разные неудачи. А отличники в то время все шли служить в Третье отделение¹. Вообще, по-моему, хорошо учатся только бездарности, эгоисты и маменькины сынки. Вот возьмите меня: я хоть и круглый отличник, а всё равно толку из меня не получится, потому что я на самом деле середнячок и добываю пятерки, просиживая штаны. А ваш сын всё схватывает на лету...

— Это правда, — сказала Болонкина и зарделась.

— А двойки — что двойки?.. Двойку всякий может получить, даже если он семи пядей во лбу. Понимаешь, что это нехорошо, а всё равно нет-нет да и получишь неудовлетворительную оценку. Жизнь! Вот, предположим, взрослые отлично понимают, что врать — это нехорошо, а всё-таки бывает, что и соврут. Жизнь — вы согласны?

Болонкина подумала и кивнула.

— А я прямо какой-то заколдованный человек, — продолжал Верёвкин. — Всё у меня из рук валится, и душа ни к чему не лежит. Я прямо не знаю, чего отдал бы, чтобы получить хоть половину талантов вашего сына! Я даже согласен на одни двойки учиться, только бы заполучить какой-никакой талант...

— Честно говоря, — сказала Болонкина, — я тоже всегда считала, что мой сын одарённый мальчик. И я рада, что вы разделяете это мнение.

— Я это мнение очень даже разделяю! — сказал Верёвкин и стал прощаться.

Болонкина пригласила его за компанию посмотреть по телевизору детскую передачу, но Верёвкин отказался, сославшись на то, что ему пора идти протирать штаны.

Пятиклассники покорно ждали Верёвкина на лавочке у подъезда.

¹ *Третье отделение* — имеется в виду Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, личной канцелярии российских императоров: орган политического надзора и сыска в Российской империи в 1826–1880 гг.

— Что-то ты очень скоро, — сказал при его появлении похититель Фомин. — Наверное, ты халтуришь.

— Да нет, просто у Болонкина сговорчивая мамаша. Таких блаженных родителей укротить — это, друзья, раз плюнуть. Даже если бы Болонкин школу поджёл, и то бы я его запросто оправдал.

— Везёт некоторым! — сказал критикан Никифоров. — А у меня не родители, а людоеды. Реакционные у меня родители, ты с ними, Верёвкин, намучаешься, попомни мои слова.

Действительно, с Никифоровскими родителями Верёвкину пришлось основательно повозиться. Начать с того, что сразу после знакомства и нескольких общих фраз Верёвкин было с места в карьер заговорил о том, как важно быть искренним человеком и при любых обстоятельствах резать правду, но Никифоров-отец его невежливо оборвал.

— Я придерживаюсь противоположной субординации¹, — с мрачным выражением сказал он. — Длинный язык до хорошего не доведёт. Как говорится: в доброе время — молвить, в худое — промолчать.

— Не скажите, — сказал Верёвкин. — Мир во все времена держался на честных людях. Как говорил Горький: правда — бог свободного человека. Но это, конечно, не всех касается, а только людей выдающихся, ненормальных. Я, положим, и предам, и совру, и оклеветаяю, но есть такие люди, которые на подлости не способны. Из них-то и получаются разные знаменитости. Так даже можно определять, будущая знаменитость перед нами или мелкая сошка. Если режет правду-матку в глаза, значит, будущая знаменитость, если промолчит или соврёт, значит, мелкая сошка.

— А у нас на производстве, — сказала Никифоровская мать, — правду говорят только запойные пьяницы, которым нечего терять, которые допились до полной свободы слова. Вот у нас сменный мастер краску ворует. Пускай я буду мелкая сошка, но я ему слова наперекор не скажу. Мне сына надо растить.

— Вы меня не так поняли, — спохватившись, сказал Верёвкин. — Я вот что имел в виду: для нормальных людей, как мы с вами, соврать

¹ *Субордина́ция* (книжн.) — строгое служебное подчинение младших старшим, вышестоящим (лат. *sub* — *под* и *ordinatio* — *приведение в порядок*). Как видите, Никифоров-старший употребляет неизвестное ему книжное слово не к месту: возможно, он хотел сказать: «Я придерживаюсь противоположного мнения».

или смолчать — обыкновенное дело, но есть такие выдающиеся натуры, которые вечно говорят правду за всех нормальных людей. Среди них, например, Диоген¹, Коперник², Козьма Прутков³, Никифоров и другие. Причём это довольно несчастные люди, поскольку им всегда попадало за прямоту, и поэтому их нужно окружать уважением и заботой.

— Погоди! — сказал Никифоров-отец и поднял руку как бы для отдания чести. — Это ты какого Никифорова приплёл? Что за туманная реминисценция⁴?!

— Я имел в виду вашего сына, — невозмутимо сказал Верёвкин. — Я считаю, что ваш сын — это будущая знаменитость первой величины. Потому что он за правду горой, где что не так, обязательно выскажется, не смолчит.

— А вот как я возьму отцовский-то ремень, — сказала Никифоровская мать, — так он у меня сразу забудет, как лезть в знаменитости!

— Нет, это, конечно, ваше семейное дело, — согласился Верёвкин, — но думаю, что потомки вас не одобряют. Так и будет написано в Большой советской энциклопедии: «Прожил трудное детство, постоянно истязался родителями». Хорошо это, как вы считаете?

— А ведь чем чёрт не шутит, — сказал Никифоров-отец, натруженно улыбаясь, — вдруг наш оболтус и впрямь окажется знаменитостью? Нет, мать, ты давай сворачивай этот индивидуализм, а то потом в веках позорю не оберёмся.

¹ *Диоген Синопский* (ок. 404–323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник движения киников. Он настаивал, что людям не нужна роскошь и вообще незачем жить в домах! В доказательство он сам жил в бочке, а днём часто ходил по городу с фонарём, объясняя согражданам, что он «ищет Человека»...

² *Копёрник Николай* (1473–1543) — великий польский астроном, положивший начало современному представлению об обращении небесных сфер, создатель гелиоцентрической системы мира.

³ *Козьма Прутков* — вымышленное лицо, коллективный псевдоним группы русских писателей — А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых, часто писавших совместно в 50–60-е гг. XIX в.

⁴ *Реминисценция* (книжн.) — смутное воспоминание или явление, наводящее на сопоставление с чем-либо, в зависимости от контекста (лат. *geminiscentia* — *воспоминание*). Как видите, Никифорова-старшего опять подвела манера вставлять в речь непонятные слова. Точнее было спросить: «К чему ты ставишь моего сына в один ряд с великими людьми прошлого?»

— Конечно, — сказал Верёвкин, — если бы ваш сын был такой негодяй, как я, то десять ремней об него обтрепать не жалко. Ведь я, если приспичит, отца родного выдам за пятачок. А ваш, я считаю, просто герой, и поэтому он должен быть окружён уважением и заботой. Вообще, я бы такую линию гнул: ему за правду замечание в дневнике, а я: «Молодец, сынок, жарь в том же духе!»

Вероятно, эта линия пришлась Никифорову-отцу по душе, так как он пригласил Верёвкина отобедать. Но Никифоровская мать по-прежнему хмуро поглядывала то на Верёвкина, то на сына, который, в свою очередь, поглядывал на всех несколько свысока. Обедать Верёвкин отказался, так как, по его словам, ему ещё нужно было писать кляузы на старшую пионервожатую, уборщицу и редактора стенгазеты. На повестке дня оставалось только дело похитителя Фомина. Это дело решилось споро, так как родители Фомина ещё в пятницу уехали к родственникам на дачу и дома была одна его бабушка, которая плохо видела, туго слышала и слабо соображала.

— Это, бабуля, мой товарищ Верёвкин, — сказал ей Фомин, как только они переступили порог квартиры.

— Ась? — сказала бабушка и приложила к уху ладонь.

— Я говорю, это мой товарищ Верёвкин, — повторил Фомин. — Мы с ним будем геометрией заниматься. Я его взял в смысле геометрии на буксир.

— Ну-ну, — согласилась бабушка.

— Вообще-то меня надо брать не в смысле геометрии на буксир, — сказал Верёвкин, — а в смысле воспитания в духе идеалов социализма. Вы знаете, бабушка, я удивляюсь на нашу школу; в ней учат чему угодно, только не нравственности. Именно поэтому у нас полно отличников, готовых сотрудничать с разведкой классового врага. Именно поэтому я в смысле морального облика конченный человек.

— Ась? — сказала бабушка.

— Я говорю, что в смысле морального облика я конченный человек. Воруя я, бабушка, вот в чём беда: у первоклассников деньги отбираю, в школьной раздевалке по карманам шарю, а недавно собаку соседскую убил, ободрал и шкуру на шапки продал.

— Так у тебя, наверное, денег вагон и маленькая тележка, — сказала бабушка и сострадательно улыбнулась. — Куда же ты их деваешь, скажи на милость?

— Расходов у меня много, — ответил Верёвкин. — Во-первых, я пью. Во-вторых, подкупаю хулиганов, чтобы они терроризировали строгих учителей. В-третьих, я постоянно плачу штрафы за нарушение общественного порядка. Но дело не в этом, дело в том, что я вор. Хотя согласитесь, что воровство бывает разное: бывает воровство, а бывает экспроприация. Положим, стянуть у империалистов нейтронную бомбу¹, это уже будет даже не экспроприация, а геройство.

— Ась? — сказала бабушка.

— Я говорю, это уже будет не экспроприация, а геройство.

— Тут я согласна, — сказала бабушка. — Я в тридцатом году сама распатронивала двух подкулачников и одного махрового кулака².

— Точно так же и в школе, — продолжал Верёвкин, — один, вроде меня, ворует, чтобы подкупать хулиганов, а другой из государственных интересов, потому что они что-то там мастерят. Я считаю, что за такое воровство нужно не наказывать, а как-нибудь награждать...

Бабушка похитителя Фомина одобрительно улыбнулась.

— Ну ладно, — сказал Верёвкин, — до свидания. Пойду воровать дальше...

Явившись домой, Верёвкин потихоньку разделся, намереваясь незаметно проскочить в свою комнату, но отец его всё-таки заприметил и позвал в кухню на личный досмотр, который он производил практически ежедневно. В карманах отец не нашёл ничего, кроме записочек и разной мальчишеской ерунды, но, когда он опрокинул вверх дном сумку от противогаза, на пол пролился разноцветный монетный дождь.

— Так, — сказал отец, — опять какие-то деньги... Говори, собачий сын, откуда у тебя деньги?!

Верёвкин внимательно посмотрел в потолок.

— Так... — сказал отец и взял со стола ремень.

¹ *Нейтронная бомба* — оружие, разработанное в США в годы «холодной войны». Сильное нейтронное излучение в районе применения бомбы убивало всё живое в радиусе нескольких километров, а материальные ценности оставались нетронутыми.

² *Кулаки и подкулачники* — зажиточные крестьяне, которые использовали наёмных работников. В период коллективизации сельского хозяйства их объявили «эксплуататорами трудового народа». Имущество их было национализировано, а сами они вместе с семьями часто подвергались репрессиям и высылке в отдалённые районы Сибири.

Поскольку порка давно стала для Верёвкина делом обыкновенным, он перенёс её более или менее по Сократу¹. Он лежал на маленьком диване, морщился от боли и мысленно огрызался. «У-у, хищник, истязатель! — думал он про отца. — Жри мою печень, жри!»



Решаем читательские задачи

1. Вспомните, в чём заключался главный подвиг Прометея.
2. Почему при первом появлении ребята названы в рассказе «клиентами»? Какого рода услуги оказывает им Верёвкин?
3. Почему Верёвкину не удалось договориться с собственными родителями?
4. Один из рассказов В. А. Пьецуха посвящён Шукшину и называется «Последний гений». Вспомните рассказы В. М. Шукшина, которые вы читали в 7 классе. Что общего между шукшинскими героями и Верёвкиным? Чем они отличаются друг от друга?
5. Как относится рассказчик к своему главному герою? Какие художественные особенности рассказа говорят о таком отношении?
6. Как проявляется ирония в этом рассказе?

¹ *Сократ* (470–399 гг. до н. э.) — античный мыслитель, первый афинский философ, учитель другого великого философа — Платона. Был осуждён на казнь и достойно принял смерть, выпив смертельный яд из поднесённой ему чаши.

Содержание

Русская литература XIX века

Фёдор Михайлович Достоевский	4
Роман «Бедные люди»	4
Бедные люди	6
Иван Сергеевич Тургенев	61
Цикл рассказов «Записки охотника»	62
Бирюк	63
Певцы	70
Повести И. С. Тургенева	87
Ася	88
Антон Павлович Чехов	116
Дом с мезонином	118
Попрыгунья	135

Наедине с поэтом

Стихотворения в прозе	158
«Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева	161
Сонеты	166
Сонеты У. Шекспира	166

Из зарубежной литературы

Уильям Шекспир	172
Трагедия «Ромео и Джульетта»	174
Ромео и Джульетта	175
Уильям Джералд Голдинг	189
Роман-притча «Повелитель мух»	190
Повелитель мух	193

Из русской литературы XX века

Михаил Афанасьевич Булгаков	244
Повесть «Собачье сердце»	246
Собачье сердце	250

Андрей Платонович Платонов	270
Юшка	271
Константин Георгиевич Паустовский	279
Золотая роза	283
Вячеслав Алексеевич Пьецух	324
Прометейщина.....	325

Учебное издание

Ланин Борис Александрович
Устинова Людмила Юрьевна

Литература

8 класс

Учебник

В двух частях

Часть вторая

Центр литературы

Ответственный за выпуск *А. С. Нафуцкая*

Редактор *Ю. А. Гормузева*

Внешнее оформление *М. А. Храповой*

Художественный редактор *Я. И. Яхина*

Фотографии: «Фотобанк Лори»: *Тамара Заводскова,*

Екатерина Фрибус, Евгений Шишков

Компьютерная вёрстка *Е. В. Гурьевой*

Технический редактор *М. В. Плешакова*

Корректор *Ю. С. Борисенко*

Подписано в печать 14.02.2022. Формат 70×90/16.
Гарнитура NewBaskerville.

Усл. печ. л. 24,57. Тираж экз. Заказ № .

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». Российская Федерация,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение I.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — **vopros@prosv.ru**.